

Владислав КРАПИВИН

Тень Каравеллы

*Моей матери —
первому моему читателю,
критику и другу*



Один раз, когда я был маленьким, мне очень повезло: у меня прохудились ботинки и пришлось сидеть дома. Не смейтесь. Если бы не этот случай, я не построил бы корабль.

Был март. Под нашими окнами сверкала синевой и солнцем лужа. В луже, как в сказке, ходили эскадры. Только паруса у них были бумажные: в мелкую клетку и косую линейку.

А мне было грустно. И чтобы прогнать плохое настроение, я пошел в кухню, отколол от полена кусок сосновой коры и начал строить *свой* кораблик. Первый.

Потом за свою жизнь я построил целый флот. Были в нем и сосновые лодочки размером с ладонь, и модели каравелл, и настоящие яхты, которые не прочь поспорить с крепким ветром. Одной из самых больших радостей я считаю тот миг, когда парус набирает ветер, кренится мачта, натягиваются шкоты, а за рулем вырастает на воде бурлящая струя.

Это так же радостно, как найти хорошие слова для новой книжки.

И сейчас, когда я с мальчишками снаряжаю эскадру, чтобы уйти в настоящий парусный поход, кое-кто из взрослых, серьезных людей с упреком говорит мне: "Ты, как маленький, все еще играешь в кораблики".

Ну и пусть. Эта повесть не для них. Они все равно не поверят, что, не будь у меня первого бумажного паруса, размером с половину открытки, я вообще бы не написал ни одной книжки.

А эта книжка про самое начало. Потому что все начинается в детстве: первые паруса, первые стихи и первые неудачи. Первая любовь и первый смелый поступок.

Иногда меня спрашивают: "Это ты про себя написал?" И очень трудно отвечать. Кое-что про себя, кое-что про таких мальчишек, каким был сам. Про мальчишек, росших в суровые военные годы и в первые годы после войны.

Может быть, кто-то узнает себя в этой книге, а другие могут сказать, что все было не так. Но тут не стоит спорить. Детство — это как сказка, которую каждый раз можно рассказывать по-новому. Главное в нем все равно всегда остается: радость открытия мира, радость ребячьей дружбы и ощущение свежести и синевы.словно ранним утром ты вышел за калитку на улицу, на которой родился, на которой живут твои товарищи.

Я уверен, что каждому человеку хоть раз в жизни выпадало такое утро.

Часть первая. ТЕНЬ КАРАВЕЛЛЫ

Синее и белое

Мир, в котором жили мы, был устроен удобно и просто. В середине его стоял наш длинный двухквартирный дом, который назывался флигель. По сторонам, в разных концах заросшего двора, находились другие постройки: бревенчатый сарай с сеновалом, двухэтажный дом с каменным низом, скрипучая, кривая голубятня и кирпичный магазинчик, окруженный забором из неструганых горбылей.

Во флигеле жили мы: я, мама и сестра Татьяна, которая училась в техникуме. Кроме того, в соседней квартире, за стенкой, жили Анна Васильевна и ее сын Павлик.

Население двухэтажного дома состояло из множества людей, которые назывались одним словом — соседи. А те, кто жил за стенкой, соседями не назывались. Они были просто тетя Аня и Павлик.

Среди соседей встречались разные люди: хорошие, так себе и вредные. Хорошей считалась тетя Ира, которая держала корову и давала нам в долг молоко. Так себе была Таисия Тимофеевна, которая тоже держала корову, но в долг молока не давала. К вредным относился прежде всего Славка Дыркаб.

В сарае хранились дрова и жили две коровы.

В голубятне никто не жил. Давным-давно, до войны, там держал голубей старший брат Славки Дыркаба. Но потом он ушел на фронт, а его почтари или сдохли с голода, или были съедены. Почерневшая голубятня скрипела на ветру и хлопала дверцами. Казалось, ее давно должны были растащить по досочкам на дрова. Но не растащили. И она стояла у забора над лопухами и репейниками, словно памятник веселому Славкиному брату, который когда-то жил в этом дворе...

Осталось сказать о магазинчике. В нем, конечно, жильцов не было, разве только крысы. Зато по утрам вдоль забора выстраивалась очередь. Стояли там главным образом старухи, инвалиды и мальчишки. Инвалиды в зеленых солдатских штанах и стоптанных чувяках мусолили самокрутки и все время спорили; старухи хмуро и осуждающе молчали — они здесь были главные. Мальчишки, заняв очередь, собирались в своем углу. Играли на щелчки в "номера" — у кого больше номер на деньгах, или усердно толкались — "давили сало", не забывая прижимать локти к нагрудным карманам, где лежали хлебные карточки. Они первые замечали пожилую сонную кобылу, которая тащила фанерную повозку с белой надписью: "Хлеб". Тогда раздавался тревожный крик: "Везут!" Очередь начинала беспокойно колыхаться.

Но мы тем летом редко стояли в очереди. Продавщица Катя, которая жила на квартире у Таисии Тимофеевны, постоянно говорила: "Не мучайтесь вы, ради бога, зря. Я своим знакомым всегда оставлю".

Видите, как все здорово было устроено.

Кроме того, у нашего крыльца рос громадный тополь. Самый высокий в нашем городе. Не думайте, что я прихвастнул. Все взрослые говорили, что такого большого дерева нет ни на одной улице.

Без этого тополя жизнь была бы гораздо хуже.

В июне тополь зацветал. Стояли дни, полные ласкового солнца. Небо, свободное от облаков, по утрам опрокидывало на землю такую синеву, что городок наш, казалось, притихал от изумления.

Осторожный ветер снимал с веток миллионы пушинок, и по всем окрестным дворам и улицам начинала кружить медленная тополиная метель. Теплая бесшумная метель под чистым небом. Дома, заборы, деревья становились зыбкими, словно нарисованными на синей марле. Казалось, что небо спустилось к самой траве и можно полететь, как ласточка, если оттолкнуться сандалиями от упругих стеблей пастушьей сумки, от плоских листьев подорожника.

И я летал.

Встречный воздух парусом надувал рубашку. Мягкий, щекочущий пух забирался в рукава и под воротник, ласково и стремительно касался щек, губ, шеи. И радость жизни была легкая, как этот пух, чистая, как утреннее небо.

Правда, иногда эта радость стремительно уходила, уступая место режущей тревоге: на улице раздавался знакомый стук босоножек. Шла почтальонка Люба.

Все ее знали, маленькую, словно девочка, в синем беретике, в желтой гимнастерке, с сумкой, черной и громадной, как пианино.

Над улицей повисало молчание. Казалось, даже пух замирал в синем воздухе. Только Любины каблучки стучали по доскам тротуара. Стучали негромко и как-то виновато. Тишина становилась свинцовой. Иногда она взрывалась где-нибудь громким женским плачем, и тогда слово "похоронная" как бы нависало над улицей. Словно кто-то написал его в воздухе черными буквами...

И все-таки когда я думаю о том времени, то вспоминаю чистое небо июня и радостный полет среди тополиной пурги. Это не потому, что память отбрасывает все плохое. Неправда. Все помнится: и беспощадность военных зим, когда распухали от холода пальцы, и лепешки из картофельных очисток, и короткий лязг ножниц, вырезающих из хлебных карточек мелкие квадратiki талонов. Но у детства смелый характер. Оно борется за радость. Оно эту радость находит, несмотря на голод и невзгоды.

Что ж, в конце концов все шло не так уж плохо. Война была далеко, наши били немцев так, что от тех только щепочки летели. Начиналось лето сорок четвертого года. Почтальонка Люба иногда оставляла в фанерном ящике у калитки бумажные треугольнички с почерком отца, а беду обносила стороной. А тополь цвел.

И видимо, в этом белом кружении под безоблачным небом лета прозвучал для меня впервые голос синих пространств. Голос, который делает из мальчишек моряков, поэтов и путешественников.

Не знаю, как это случилось. Я не думал тогда ни о парусах, ни о море. Но в один из таких дней захотелось мне сделать крылатый кораблик, чтобы летать в тополиной метели, держа его на ладони. Не самолет, а именно кораблик с крыльями. Вроде того корабля, который я видел в фильме "Золотой ключик". Этот фильм я смотрел два раза в кинотеатре "Сокол", где работала контролером Анна Васильевна, которая жила за стенкой.

Кораблик я решил сделать из глины, а по бокам хотел укрепить сухие стрекозиные крылья. Их я надеялся отыскать в траве. Мне тогда и в голову не пришло, что крылья эти, похожие на лепестки стеклянных ромашек, можно найти лишь в конце лета, когда стрекозы уже гибнут.

Зато, где взять глину, я знал точно. Было такое местечко позади дома, в сыром углу у забора.

Я вооружился щепкой, похожей на плоский штык, и через минуту докопался до влажного слоя. И тут меня отыскал Славка Дыркнаб.

Фамилия у Славки была самая простая — Иванов, а Дыркнабом его звали ребята. Прозвище это казалось непонятым, но подходящим.

Пятиклассник Славка был большой, круглоголовый и безнадежно рыжий. Если он в солнечный день сидел у окна, от стриженной под машинку головы, как от начищенного самовара, по углам разлетались желтые отблески. Круглые веснушки на Славкином лице сияли, будто новые копейки. И глаза у него были рыжие, кошачьи. Хитрые и непонятные глаза.

Я знал, что от Славки бывают неприятности, а хороших вещей не бывает. Поэтому смотрел на него с опаской, и голова моя сама собой втягивалась в плечи.

Однако Дыркнаб не торопился устраивать неприятность. Улыбнулся, лениво сощурился и сказал:

— Значит, лепить собираешься...

Улизнуть было нельзя. Пришлось ответить:

— Ага... Лепить.

— А чего?

— Не знаю еще, — осторожно сказал я. Раскрывать свои планы рыжему злодею я не собирался...

Дыркнаб вздохнул и печально заморгал. Я насторожился еще больше.

— Я, когда маленький был, тоже любил из глины лепить, — неожиданно признался Славка. В желтых глазах его появилась задумчивость.

Он присел рядом. Это было кстати, а то у меня уже шея одеревенела: попробуй-ка, сидя на корточках, смотреть на человека, если он стоит за спиной.

Славка потыкал пальцем глиняный ком и сказал все так же печально и доверительно:

— Я и сейчас лепить люблю. Времени только нет. Мать как увидит меня — сразу: "А ну, марш в очередь за хлебом!" Или: "Марш за керосином!" Или еще чего-нибудь. Покамест в очереди торчишь, вечер подходит, надо за Манькой в садик ковылять. Потом мамка на ночную смену уходит, а я опять же с Манькой... У тебя-то житуха спокойнее, ты у матери младший.

Этим неожиданно серьезным разговором Дыркнаб рассеял мою недоверчивость. Подумать только: он искал у меня сочувствия!

Я старательно вздохнул:

— Трудно тебе...

— Да... А лепить я больше всего корабли люблю. Когда-то хорошо умел. Хочешь, сделаю кораблик?

Разве можно было отказаться?!

— Только здесь неинтересно, — подумав, решил Славка. — Испытывать негде. Давай у вас на кухне. Сразу слепим и сразу в бочке испробуем.

— Знаешь что, Славка, — сказал я, — лучше не надо. Глина же не деревянная. Она бульк — и на дно.

Славка оскорбленно выпрямился:

— Я дурак, да?

— Не... — сказал я опасливо.

— Нет, ты скажи. Дурак?

Я растерянно моргал. Признать Славку дураком было невозможно. Однако, что глина тонет, я знал точно.

— Глина тяжелая, — пробормотал я, не глядя на Дыркнаба.

— А железо? — спросил он. — Железо еще тяжелей. А из чего делают пароходы? Из железа. А пароходы тонут?

Пароходы не тонут. Их для того и делают, чтобы они не тонули, а плавали. И возражать тут было смешно.

— Ну вот видишь, — снисходительно заметил Дыркнаб. — Главное, знать способ. Как сделать.

Мы пришли на кухню. Славка раскатал на столе глиняную колбасу с заостренными концами, приплюснул ее и налепил сверху плямбу.

— Подводная лодка, — объяснил он. — Похожа?

Я сказал, что похожа, но про себя подумал, что Дыркнаб врет, не лепил он корабли.

— Бери теперь и пускай ее в воду, — предложил Славка. — Не бойся.

Но я боязливо заспорил:

— Да... а вода чистая. А глина грязная...

— Глина? — изумился Славка. — Грязная? Из нее посуду делают. Кринки разные да чашки. В ней ни одного микроба нет. Да не бойся ты.

Я нехотя снял с бочки дощатую крышку, тяжелую, как щит Ильи Муромца. Бочка словно вздохнула. Запахло сырым деревом и дождем.

— Ну, давай, давай, — торопил Славка.

Я осторожно опустил "подводку" к воде, жалобно глянул на Славку... и разжал пальцы.

Лодка булькнула и ушла на глубину. Разошлись круги. Я увидел в черном зеркале воды свое растерянное лицо. И сказал шепотом:

— Славка, не плавает.

— Ты что? Как — не плавает? — торопливо заговорил Славка. — Она же подводная, под водой и плавает. Поплавет и поднимется. Ты подожди. Ну, я пойду, а то мать ругаться будет.

Хлопнула дверь. Я остался у бочки, проклиная Дыркнаба. Слезы падали в воду, и наполовину пустая бочка тихонько звенела.

Слезы беде не подмога. А беда была не маленькая. Воду носили от водокачки за четыре квартала. Дело это было хлопотное и долгое: у водокачки всегда стояла очередь. Я испортил двухдневный запас воды и ничего хорошего не ждал от жизни.

Я засучил до плеча рукав, лег животом на край бочки и попытался выловить подводную лодку. Где там! Разве дотянешься до дна... Тогда я принес кочергу и долго бултыхал в бочке, стараясь зацепить потонувшее глиняное судно.

За этим печальным занятием застал меня Павлик.

Он незаметно возник на пороге, и я вздрогнул, когда услышал вопрос:

— Ты что? Клад ищешь на дне морском? Или похлебку варишь?

Вопрос был задан с легким удивлением, но и с ехидством тоже. Павлик вообще никогда не разговаривал со мной по-обыкновенному. Если сердитый был, ворчал и советовал "убираться с горизонта". Если находился в хорошем настроении, все время насмешничал. Я привык. Другого я и не ждал. Ему уже стукнуло одиннадцать, а мне и семи не было.

— С чем похлебочка? — продолжал он ядовитый допрос. — Попробовать дашь?

— Лодка утонула, — сказал я отрывисто, чтобы не разреветься.

Тогда он удивился по-настоящему:

— Что за лодка такая?

— Дыркаб подводную лодку сделал. А она...

Павлик хмыкнул. Не было в нем сочувствия.

— Балда, — сказал он. Было совершенно ясно, что он имеет в виду меня, а не Дыркаба.

Худой, уже загоревший, с отросшей до бровей челкой, он стоял передо мной, пружинисто покачиваясь, и, наверно, размышлял: спасти меня или оставить на съедение злой судьбе? В светло-коричневых Пашкиных глазах блестели хитрые, острые, как иголки, точки.

— Эх ты, капитан Немо, — вздохнул он наконец (так я впервые услышал это имя).

Не снимая выцветшей испанки, он бесстрашно ухнул в гудящую пасть бочки и через несколько секунд выбрался на свет, держа на ладони раскисшее чудо подводного флота. Со слипшейся кисточки испанки часто падали капли, чиркали по голубой майке, оставляя на ней темные полосы.

— Забирай, — насмешливо сказал Павлик.

Я послушно подставил ладони под глиняное тесто.

Павлик поднатужился и водрузил на место крышку:

— Все.

— А как сейчас... — начал я, с опаской глядя на бочку. — Вода ведь грязная теперь...

— Пф! — Он презрительно оттопырил губы. — Помереть боишься? От гнилой картошки не померли, а от глины и совсем не помер! Если хочешь знать, в Африке есть такой народ, который специально глину ест, когда больше нечего.

— Правда? — живо откликнулся я, потому что это имело практический интерес.

— Говорят... Да ну ее, глину. Картошка лучше, даже гнилая.

— А если узнают про лодку? — опять забеспокоился я.

— Ха! Как узнают? Может, ты болтать будешь? Может, я буду?

Так связала нас маленькая тайна.

Увы, ниточка эта оказалась совсем непрочной. Через пять минут я услышал, как Павлик вместе с Дыркнабом хохочет над моей глупостью.

Грустно мне стало, но я не обиделся. Как я мог обижаться на Павлика? Павлик имел право смеяться. Он был не просто сильнее и старше. Он был человек из другого мира. Мир этот, большой и шумный, включал в себя многие улицы, стадион, реку, где можно было купаться и сколько хочешь смотреть на пароходы. Были в этом мире и школа, и целая толпа друзей, у одного из которых даже имелся велосипед. Было и учебное стрельбище, где смелые люди могли найти пустые гильзы, а иногда и целые патроны. Были крыши, с которых запускали трескучих змеев с мочальными хвостами.

А я? Кто был я? Семилетний заморыш, не нюхавший школы, не ходивший в одиночку даже по ближним улицам. Я рос окруженный дощатым забором нашего двора. И приятелей у меня не было, если не считать драчливой Томки из большого дома и ее пятилетнего братца Тольки — нытика и попрошайки.

Конечно, двор был большущий, а играть я умел и один, поэтому до поры до времени не чувствовал тесноты и грусти. Но вот, забыв про меня, умчался по своим делам Павлик, и я понял, что мир мой мал, а я одинок. От тоски я отлупил Томку, издав далеко запустил камнем в предателя Славку и вдобавок нарисовал на заборе его портрет и подписал:

"Дыркнаб — драк".

Букву "у" я пропустил только из-за торопливости, потому что вообще-то писал и читал тогда уже прилично. Научился, когда было пять лет.

Дыркнаб целый час ходил у меня под окнами, громко рассказывая, что он сделает со мной, когда поймает...

А Павлик, хотя и смеялся надо мной, про подводную лодку никому не сказал. И тонкая ниточка, видимо, не совсем порвалась. В конце концов, он именно мне, а не кому-то из друзей оставил на хранение учебную гранату, когда на месяц уехал в лагерь.

А потом был август и тот вечер, когда мы почувствовали, что нас тревожит одно и то же ожидание. Чувство, похожее на близость приключения.

Это было как первая капля нашей дружбы. Вернее, сначала и не дружбы, а просто симпатии, которая появляется, когда два человека хорошо понимают друг друга. После этой капли был еще долгий перерыв. Как в том дожде, о котором я сейчас вспомнил.

Капля упала с потемневшего неба на крыльцо, разлетелась на пылевые брызги и оставила на серой доске темный след. Он был похож на разбившуюся звезду. Пока я разглядывал этот лучистый след, вторая капля щелкнула по моей сандали, нырнула в одну из дырочек, пробитых в коричневой коже, и холодной ящеркой скользнула между пальцами.

— Владик, иди домой, гроза начинается! — крикнула мама из кухни.

Я не пошел. Мне хотелось увидеть падение новых капель. Я любил это волшебное зрелище — стремительное снижение маленьких стеклянных шариков. Но капель больше не было. Туча молчала. Она уже перевалила середину неба и развернула над всей землей темно-синий грозовой занавес.

Было очень тихо. Иногда вздрагивали и начинали хлопать друг о друга листья тополя, но тут же испуганно замирали.

Над заборами, над низкими крышами я видел высокую башню со шпилем. Я знал, что это колокольня старой церкви, в которой помещалась тогда городская библиотека. Знать-то знал, но что с того? Я даже близко от этой библиотеки не был — не приходилось. Она всегда была для меня просто башней, видимой издали. А то, что видишь только издали, всегда кажется немножко таинственным.

Мне нравилась эта башня. А в тот грозовой вечер нравилась особенно. Она была очень белая. Такая плотная и свежая белизна бывает у кусков мела, еще ни разу не взятых в руки. Этот белый цвет на грозовой синеве почему-то радовал и успокаивал меня.

Вокруг башни, словно рой бабочек вокруг абажура, носилась птичья стая. Птицы тоже были белые. И видимо, они не боялись грозы, хотя были от нее очень близко.

Коротко рванул ветер. Тополь, уже не стесняясь, захлопал зелеными ладонями. Сразу запахло теплой пылью, травой и сухой ржавчиной железных крыш.

Взвизгнула калитка, и во двор влетел Павлик. Он лихо затормозил перед крыльцом и выпалил:

— Ух и отоварит сейчас дождичком! Мы с Вовкой самолет по нитке пускали и вдруг как поглядим, как увидим! Какая туча! Ага? — Но вдруг мысли его скакнули в другую сторону: — Эй, Владька! А где моя учебная граната, которую я тебе оставил, когда в лагерь поехал? Я с Вовкой на самолет поменяюсь. Где? — Он наклонил набок голову и подозрительно смотрел на меня из-под выгоревшей челки. Жидкая кисточка испанки качалась над левой бровью.

Мне по многим причинам не хотелось касаться скользкого вопроса о гранате. Я отвел глаза и снова стал смотреть, как кружится у башни голубиная стая.

— Замылить хочешь? — в упор спросил Павлик. — Чего молчишь?

— Я на башню смотрю. И на птиц.

Павлик удивился и притих. Тоже стал смотреть, как кружат белые птицы. Не знаю, что он почувствовал. Но стоял и смотрел он долго. Тускло-розовая горбатая молния бесшумно сгорела выше башни и птиц. Это было увлекательно и страшновато.

Павлик громким шепотом сказал:

— Как на море. Будто там маяк и чайки... — Шепот его звучал тревожно. — Будто скоро шторм.

Плотная синева громадных грозовых пространств со всех сторон окружила притихшую землю. Дома, казалось, хотят спрятаться под крыши, как черепахи под панцирь. Только башня, высокая и

светлая, бесстрашно пронзала тревожную синеву. Она была как парус, как лебедь. Как белый маяк на краю беспокойного океана.

— Как на море, — отчетливо повторил Павлик.

Я знал, что он родился и вырос здесь, в этом доме, и никогда не был у моря. Но поверил ему сразу и накрепко.

С той поры эти два цвета — синий и белый — связаны у меня с мыслями о море. Белое и синее — значит чайки и паруса в морской дали, волны прибоя, тельняшки и матросские воротники, незнакомые города над заливами, флаги отхода на мачтах многоэтажных кораблей. Бело-синими были обложки журналов "Вокруг света" и контурные школьные карты, так похожие на морские...

Конечно, это пришло постепенно. А в тот вечер, когда туча стала уплывать и приоткрыла яркую щель заката, я забыл о синем шторме и белых птицах. На время.

Потом наступил сентябрь, и я пошел в первый класс, а Павлик в четвертый. Ближние улицы перестали казаться мне таинственной страной. Большой овраг, который раньше был страшным и запретным, стал местом веселых игр. Когда выпал снег, я одним из первых пробороздил там санками крутой склон.

Жить стало интереснее, но гораздо труднее. Школа оказалась совсем не праздником. Читал-то я хорошо, но с первых дней не ладилось у меня с почерком. Буквы меня не слушались. Они разбредались с линеек кто куда, валялись набок, принимали самые уродливые формы. Крупнокалиберные кляксы сыпались на тетрадные страницы автоматными очередями. А кроме того, вставать в семь утра и по морозу топтать пять кварталов до школы — какая же это радость! Да еще домашние задания! Конечно, — снежный овраг, где шумно и весело, — это хорошо, но все-таки я жалел о прошлых временах. Наступившая зима казалась мне безрадостной и жестокой. Зимние каникулы с крошечной елочкой в углу на сундуке промелькнули, как случайный солнечный зайчик.

С ребятами в классе я сходилась очень трудно. Ленинградец Юрик Давыдов, с которым я подружился, неожиданно уехал. До весенних каникул было далеко-далеко, а других радостей я не ждал.

Так было до того январского вечера, с которого я хотел сперва начать эту повесть. Но, вспоминая все по порядку, я понял, что началась она раньше. Не этим зимним вечером, а в синие летние дни впервые задела крылом Павлика и меня Тень Каравеллы.

Визит Билли Бонса

Ветер за окнами был пронзительный и лютый. Он басовито выл в проводах и тополиных ветках, но иногда срывался и начинал верещать, как прижатая в ловушке крыса. Я знал, что он лижет сугробы и взмывает над ними языки летучего снега. При ледяном свете луны эти языки похожи на бледное прозрачное пламя.

Я любил смотреть на эти прозрачные факелы. Окна закрывались ставнями, но у одного ставня отвалилась нижняя половинка и оставила свободным оконце размером с тетрадку. По углам оно было затянато узорчатым льдом. Я прижимался носом к стеклу и смотрел, как полыхают и дымятся холодом сугробы, как летят по снегу тени. Луны видно не было, но я знал, что она, не уставая, катится навстречу стремительным облакам.

Однако мама и Татьяна быстро прогоняли меня: от окна дуло. А если я был один, то и сам не решался подходить к окошку. Неизвестно откуда появлялся дурацкий страх: вдруг с улицы навстречу мне поднимется и прилипнет к окну плоская белая рожа со страшными глазами. От одной этой мысли делалось холодно в животе и хотелось, чтобы окон вообще не было.

Конечно, когда приходили взрослые, мысль о белой роже начинала казаться невероятной чушью.

Но в этот вечер взрослых дома не было. Вообще никого не было, кроме меня.

Натянув пальтишко, нахлобучив шапку, я сидел у стола и рисовал. Вернее, не сидел, а стоял коленками на стуле, навалившись грудью на край стола. Острая кромка сиденья резала колени, стол больно давил на ребра, но я не старался устроиться удобнее. Зачем? Все равно все было плохо.

Такие скверные вечера я называл унылым словом "утык".

Утык — это если все несчастья утыкаются в одного человека, в меня.

Нынешний утык начался еще днем: я получил очередную двойку по письму. Чтобы отомстить Антонине Петровне, я дома не стал делать задание по арифметике. Однако сейчас меня грызла мысль, что от такой мести Антонина Петровна пострадает меньше, чем я сам. Впрочем, не очень сильно грызла. Гораздо хуже было то, что я остался один. У мамы или собрание, или внеочередное дежурство в редакции. У Татьяны тоже какое-то дело в техникуме, она вообще часто задерживается.

Мама, наверно, думает, что Татьяна дома, истопила печку, сварила на ужин овсяный кисель (я глотнул слюну). А Татьяна думает, видимо, что все это сделала мама. "А в крайнем случае, — думают обе про меня, — посидит у Павлика, пока мы не придем".

Но беда в том, что и Павлика нет. Из школы он пошел, наверно, на работу к матери, сделал там уроки и теперь в уютной кинобудке четвертый раз смотрит фильм "Два бойца".

Я с горькой завистью подумал, как тепло и интересно там, у больших трескучих аппаратов.

В доме было до чертиков холодно. Видимо, Татьяна днем не успела истопить печку. Холодными были стены, печная плита, стол, покрытый голубой клеенкой. Даже карандаш, когда я зажал его в пальцах, показался ледяным, как сосулька.

Это был мой любимый заслуженный карандаш. Военный. С одного конца черный, с другого — оранжевый. Весной мне подарил его знакомый офицер, который жил тогда у нас на квартире. Этим карандашом очень удобно было рисовать на полях газет горящие самолеты и танки фашистов: черное железо с крестами и оранжевое пламя. Но сейчас я рисовал без всякой радости. Просто так. В озябших пальцах толкалась привычная тупая боль. Она называлась "ревматизм".

Взгромоздившись валенками на стол, я распутал на электрическом шнуре узел и опустил к самой клеенке лампочку. Где-то мотался на ветру провисший провод, и лампочка тревожно мигала. Она была желтая, неяркая. Пар от моего дыхания обволакивал ее быстро исчезающими облачками.

Чтобы отогреть пальцы, я обнял лампочку ладонями, но тут же по стенам взлетели громадные тени, а в заиндевелом углу у окошка начала шевелиться мохнатая темнота. Ходики на стене застучали отчетливо и часто, словно предупреждая об опасности.

Я убрал руки и сердито всхлипнул. Утык был полный и глубокий. Еще и есть хотелось сильнее обычного. Конечно, я не помышлял о макаронах, оставленных маме и Татьяне, но если бы топилась печка, я нарезал бы тонких картофельных ломтиков и поджарил бы их на плите. С солью.

Я опять проглотил слюну и с ненавистью взглянул на плиту. Она была холодная, как Северный полюс.

У печной дверцы лежало несколько сосновых поленьев. Вверху, на кирпичном уступе дымохода, хранились спички-гребешки в синей бумажной обертке и коричневая дощечка-чиркалка. Но что с того? Разжигать печку сам я не мог. Это было запрещено раз и навсегда. Нарушить этот железный запрет было страшнее, чем получить сразу пятьдесят двоек или съесть одному хлебный паек всей семье.

Считалось, что если я возьмусь за растопку, то обязательно сожгу дом, себя и полгорода. Кроме того, в печке могло что-нибудь взорваться. Ведь взорвались же у Павлика учебные патроны (ох и звону было!).

"Однако, — подумал я, — взорвались у Пашки, а не у меня. А к печке не пускают меня, а не Пашку. Его-то пускают: пожалуйста, топи сколько хочешь..." Эта мысль была первой искрой бунта.

Бунт был молчаливый и стремительный. "Все равно!" — отчаянно подумал я, прыгая со стула.

В самом деле, все равно когда-то должно это было кончиться! Не мог же я без конца терпеть мучения оттого, что взрослых терзают глупые страхи! Так и скажу им! А сейчас возьму спички и...

Дров было мало. Но тащиться за ними в темный сарай через двор я, конечно, не собирался. Семь бед — один ответ! Я решил сжечь запасы бумаги, которые шли на растопку.

Тумбочка письменного стола была заполнена бумажным хламом: старыми учебниками и тетрадями сестры, довоенными журналами отца, пачками газетных вырезок, какими-то неинтересными книгами. Мама с Таней иногда жгли это добро, но очень осторожно. Они все боялись, что там может оказаться что-то нужное. А я не боялся.

Я ударил валенком по тумбочке, чтобы заставить попрятаться живших там мышей, и дернул дверцу. С шелестом выползли к моим ногам несколько скучных журналов, связка газет и учебник зоологии с зубастым ящером на обложке. Я нагнулся, чтобы подобрать их.

И тогда, словно дождавшись нужного момента, прямо в ладони мне скользнула еще одна книжка.

Она была разлохмаченная, без переплета. На первом листе я увидел два крупных слова: "Старый пират". А ниже, с середины страницы, шли слова, рассказывающие о старом морском волке, появившемся неизвестно откуда в приморской таверне.

Это было необычно, не встречалось раньше. Короткое воспоминание о белом маяке среди синей грозы толкнуло меня, как легкая тревога. С книжкой в руке я шагнул ближе к лампочке...

Безотрадный вечер, называемый словом "утык", растаял, провалился, исчез. Обладатели белых рож могли открыть все ставни, слоняться под окнами целыми взводами и заклеивать жуткими лицами все стекла — я бы их не заметил. Темные чудовища в углах могли играть в чехарду и размахивать мохнатыми щупальцами — плевал я на них. Холод мог украсить потолочные балки гребнями сосулек — меня это не касалось.

Неловко навалившись боком на стол, касаясь щекою теплой лампочки, я глотал страницу за страницей, и море гремело у серых гранитных уступов, и ветер яростно хлопал ставнями на окнах одинокой таверны, и старые часы скрипуче били полночь...

Наверно, так бывает только в детстве: читаешь книгу, но не замечаешь слов, а как бы видишь кино. Я видел совершенно отчетливо стертые ступени гостиничной лестницы, частые переплеты окон, за которыми ночь и опасность, дрожащие свечи в руках испуганной хозяйки и ее сына Джима. Огоньки этих свечей желтыми точками отражались в железных полосках, которыми был окован зеленый дубовый сундук. И наконец, видел я хозяина этого сундука. Старый Билли Бонс будто сел рядом со мной, скрипя кожей ремней и башмаков, хрипло ворча и откашливаясь. На его полосатой вязаной фуфайке блестели капельки дождя (так же, как блестят на мамином платке капельки растаявшего снега, когда она приходит с работы). От него пахло табаком и промокшим сукном.

Билли Бонс неторопливо сложил и затолкал во внутренний карман медную подзорную трубу, отхлебнул из мятой железной фляжки, сморщил красное обветренное лицо и глянул на меня стариковскими слезящимися глазами.

"Что, парень? Тебе тоже не сладко?"

— Да нет, ничего, — шепотом сказал я.

Он мне понравился, этот старый таинственный капитан. Конечно, он бывал иногда грубоват и вспыльчив, но ведь и жизнь у него была несладкая. По крайней мере, я полюбил его гораздо больше, чем хозяйкиного сына Джима, который сначала был настоящим размазней и трусом. Когда Билли Бонс умер, я чуть не заплакал.

Зато я с большой радостью узнал, что один из его врагов попал под копыта лошадей. Так ему и надо! Ух как гремели подковы по мерзлой дороге! Я не сразу понял, что гремят не подковы, а грохочет дверь под ударами кулаков.

— Кто? — крикнул я, вылетая в сени.

— Дрыхнешь, что ли?! — яростно завопил за дверью Павлик. — Сам бы поторчал здесь на холоде! Я все кулаки расплющил! Открывай, верблюд несчастный!

Я откинул крючок. На обидные выкрики я не обратил внимания. Во мне еще гремели отголоски удивительного мира опасностей и тайн. Скорее, скорее туда, назад, чтобы узнать тайну пиратского сундука!

— Засоня, — презрительно сказал вслед Павлик.

— Балда, — откликнулся я на ходу. — Я не спал. Я зачитался.

— Зачитался! "Ма-ма мы-ла ра-му. Лара мыла Лушу".

Я остановился. Мы стояли в общей кухне, каждый у своей двери.

— Сам ты Луша. У меня такая книжечка. Треснешь, как пузырь, от зависти. Пальчики обсосешь.

— Пф! Про Курочку-рябу.

— Сам ты ряба! Про старого пирата.

— Ты? Про пирата? Ой, умру!

— Начинай, — холодно сказал я. — Когда умрешь, крикнешь, — и взялся за ручку двери. Истина была на моей стороне.

Павлик бросил портфель и шагнул ко мне:

— Ну ладно. Ну, покажи.

С тайным торжеством я протянул книжку.

— Ух ты... — быстро сказал Павлик, и глаза у него стали ласковыми, словно он взял в руки любимого щенка. Он узнал книгу сразу же. Конечно, он видел такую раньше. — "Остров сокровищ", — сказал он почти торжественно. — Роберт Льюис Стивенсон.

Он произнес это имя протяжно и немножко странно: "Робэрт Ль-уис Стывенсо-он". Было ясно, что в книгах таких и в именах он знает толк.

— Я ее давным-давно прочитать хотел, — заговорил Павлик, жалобно поглядывая на меня. — У Сережки Сазонова просил, а он фигу показал. Я ему автомат с железной трещоткой обещал, а он все равно не дал. Свинья, верно?

Я кивнул, но, чуя опасность, не сводил глаз с книжки.

— Этот автомат я могу хоть сейчас тебе отдать, — бодро пообещал Павлик. — А ты мне книжечку всего на один вечерок. Идет?

Действовать надо было мгновенно. К счастью, книжку держал он не очень крепко. Я кошачьим движением выхватил ее и скользнул за дверь. Звякнул задвижкой.

— Владька! — тоскливо взвыл Павлик.

— Прочитаю, тогда дам, — непреклонно сказал я.

Павлик потрогал дверь, но задвижка была прочная.

— Жила, — безнадежно сказал он. — Буржуй. Купец, помещик, капиталист. И этому типу я отдал свою гранату!

— Возьми ее обратно.

— Ну, Вла-адик. Ну, на вечерок... А?

— Бэ, — сказал я.

— Жадюга. Вот скажу в школе, все ребята тебя лупить будут.

— Тогда и через год книжечку не увидишь!

Он шумно вздохнул за дверью и замолчал. Я понял, что он придумывает самые убедительные, самые-самые действующие слова. Ох как хотелось ему почитать "Остров сокровищ"!

— Много ты прочитал? — вдруг спросил Павлик.

— Тридцать пять страниц.

— Как ты быстро читаешь, — сказал он вкрадчиво. Это была грубая лесть. Ведь он не знал, сколько времени я читал.

Мне стало жаль Павлика.

Даже не то чтобы жаль, а просто я представил, как он безнадежно топчется у двери и чуть не плачет от огорчения. Счастье сверкнуло перед ним ослепительной искрой, поманило и погасло.

Я бы, наверно, на месте Павлика заревел от тоски.

— А ты совсем ее не читал? — спросил я.

— Пятнадцать страничек. Да еще в середине немножко. Сазонов давал почитать на переменах.

— Давай так, — начал я, осторожно взвешивая слова. — Ты сейчас затопишь у себя печку...

— Ага... — откликнулся он с проснувшейся надеждой.

— Потом решишь мне задачку...

— Хоть десять!

— И примеры.

— Хоть тыщу!

— Потом я дам тебе почитать до тридцать пятой...

— У-у...

— А потом вместе будем, вслух! А ты один хотел? Хитрый...

— Ура!

На радостях он грянулся грудью о дверь и сорвал задвижку с винтов.

Отблески на парусах

Эту книжку мы читали пять вечеров подряд.

Мы не торопились. Ждали, когда загустеют в окнах фиолетовые сумерки, и потом отправлялись в комнату к Павлику. Там, у печки, был просторный уютный угол. Наш угол. От комнаты его отгораживали спинка кровати и тумбочка с треснувшим фарфоровым шариком вместо ручки на дверце.

Печка была круглая, покрытая черным блестящим железом — голландка. Казалось иногда, что это и не печка совсем, а основание корабельной мачты, которая уходит вверх сквозь палубу. Где-то высоко над крышей шумят ее паруса. Шум был на самом деле: это хозяйничал в тополе ветер. Когда открывали трубу, он начинал обрадованно голосить в ней.

Павлик отводил в сторону тяжелую двойную дверцу, поджигал газетный фитиль и толкал его под сосновые поленья, в лучину. Тяга была могучая! Сухие дрова словно взрывались — пламя охватывало их разом и начинало торжественно реветь в печной утробе.

На окнах в комнате Павлика никогда не закрывались ставни. За стеклами дрожали яркие голубые звезды. Казалось, что дрожат они от гудения огня.

Мы садились на поленья у приоткрытой дверцы. Павлик брал книгу. Он становился спокойным и строгим. Он мне очень нравился в такие минуты — не насмешливый, добрый, настоящий. Глаза Павлика делались темными, и пламя билось в них беспокойными звездочками. И на лбу, на волосах его дрожали медные отблески.

Не помню, как читал он: тихо или громко, с выражением или без. Среди пляшущего огня я видел, как на экране, одноногого Сильвера с крикливым попугаем, двухмачтовую "Испаньолу", опоясанный ружейными дымками форт. Головешки, рассыпаясь, стреляли, как мушкеты. Угли были как освещенные закатом скалы острова. Юнга Джим шел по следам сокровищ и воевал с пиратами. Он оказался не таким уж размазней, каким выглядел вначале.

Но вот вместе с пятым вечером кончилась книжка.

Честное слово, я растерялся. Я знал, что она должна кончиться, но нельзя же так сразу. Что же дальше? Не будет больше парусов, прибоя, дальних берегов?

— Хорошая книжка, — потягиваясь, сказал Павлик. — Побольше бы таких.

— Разве есть еще такие? — очень удивился я.

— Завтра принесу одну. Выпросил кое-как у Сереги. Называется "Морская тайна".

"Морская тайна" тоже была замечательной книжкой, только тонкой. Два вечера мы читали про наших моряков, которые оказались в плену на подводном японском крейсере.

А потом Павлик принес "Приключения Гулливера".

Книжка начиналась словами, похожими на строчку из песни: "Трехмачтовый бриг "Антилопа" уходил в Южный океан..."

Мне показалось, что ласковый ветер пошевелил волосы и приподнял листы книги — вот какие это были слова.

Но Павлик оборвал чтение.

— Что за чушь? — сказал он серьезно, даже встревоженно.

— Что? — не понял я.

— Не бывает же трехмачтовых бригов...

Для меня эта наука была как темная ночь.

— Почему?

Несколько секунд он смотрел на меня молча, потом, видно, понял, что разговаривать со мной об этом бесполезно. Сердито и негромко сказал:

— Вот потому... Кончается на "у".

— Раз написано, значит, бывают, — заметил я.

Тогда он взорвался:

— "Написано"! Если он трехмачтовый с прямыми парусами, значит, он фрегат, а не бриг!

— А если не с прямыми?

— Не с прямыми бриги не бывают, ясно? Они всегда с прямыми, всегда двухмачтовые! Вот!

— Откуда ты знаешь?

Он уже успокоился и не хотел спорить.

— Мало ли... — сказал он рассеянно. — Откуда хочешь... Словари-то почти в каждой книжке есть...

— Ну ладно. Давай читать, — нетерпеливо потребовал я.

Павлик помолчал немного и вдруг сказал:

— Не буду.

— Ну, Павлик! — взмолился я.

— Не буду, — спокойно и твердо повторил он. — Если с первого слова вранье начинается, дальше, значит, совсем...

Я понял, что он в самом деле читать не станет. Все рушилось. Погибал хороший вечер с горячей печкой и заманчивой книжкой, где на картинках были якоря, корабли и маленькие воинственные человечки из неизвестной страны.

— Все ты знаешь! — бросил я с отчаянной обидой. — Морской профессор! Может, раньше были трехмачтовые бриги! Сейчас нет, а раньше были! Совсем давно! Откуда ты знаешь?

— Раньше? — повторил он.

— Ну да! — уцепился я за спасительную мысль. — Ты все на свете знаешь, что ли?

Нет, все на свете он не знал. Подумал и согласился:

— Может, правда. Раньше. Насчет раньше я только немножко знаю. Про каравеллы.

"Гулливер" был спасен. А когда и этой книжке пришел конец, Павлик раздобыл где-то "Пятнадцатилетнего капитана".

Первая глава называлась "Шхуна-бриг "Пилигрим".

Я не забыл недавнего разговора и потребовал у Павлика объяснения: что это за штука — шхуна-бриг? И это было лишь начало. Я уже не хотел только приключений. Мне нужно было *знание*. То знание, которое отличает капитана от пассажира.

Я стал придирчив. Что такое "спардек"? Что такое "ванты"? Что такое "фор-стенъ-стаксель"? Павлик ругался, но объяснял что мог. Потом я, как и он, привык копаться в словарях и примечаниях.

Впрочем, это не портило наши вечера. Это было похоже на игру. Да и в самих словах "норд-вест", "бейдевинд", "фор-марсель" звучали отголоски удивительных морских историй. Это были слова из синей и белой песни моря.

Мы поняли тогда: нам нужны не просто книжки про острова и тайны. Нужны такие вечера. Вечера с гудящим огнем и разговорами о маяках и коралловых рифах. И с ломтиками картошки, которые мы жарили на железной полоске у печной дверцы. Звонко стреляли крупички соли, на ломтиках появлялись коричневые пузырьки. Потом эти ломтики похрустывали во рту, как печенье, и были вкуснее всего на свете.

В те дни все складывалось как-то удачно. Ушла тревога за отца: его часть вывели из боев, и она стояла в тихом городке с длинным нерусским названием. Отступил голод — мама получила какие-то дополнительные талоны на муку. Не за горами была и весна, а все знали, что весна принесет победу. Даже в школе мне везло: я получил две четверки по письму. Но запомнились прежде всего не дни, а счастливые вечера, согретые огоньком начинавшейся дружбы.

Правда, вначале их портила Татьяна. Взяла такую моду: придет из техникума, просунет в дверь голову и медовым голосом начинает допрос:

— Владик, а уроки ты сделал? Все? И по письму? А что было задано? А какие отметки в школе? А что сказала Антонина Петровна?

Эти разговоры надоели мне, как похлебка из мороженой капусты. Меня от них тошнило. Я даже пробовал скрипеть зубами, но скрип не получился, только зубам было больно. И однажды лопнуло терпение.

Я сказал, что это свинство. "Да-да! И не простое, а громадное свинство. Нет, я правильно выбираю выражения! Как еще можно выразиться, если тебе каждый вечер портят настроение?.. Ну и жалуйся! Хоть директору школы! Каждый вечер одно и то же!.. Кашалоту в глотку такую заботу!.. Только попробуй! Думаешь, ты одна умеешь ремнем махать?.. Тысяча чертей и один грот-марсель с двумя рифами!.. Кто бы другой говорил об уроках! Не тот, у кого "хвосты" по черчению!.. Да, знаю, что такое "хвосты", еще хуже двоек! Об этих "хвостах" и говорю, да! А ты

думала, о других? Можно и о других: еще хвостами называются те, кто за кем-нибудь таскается по пятам! Например, тот курсант из пехотного училища, или Лешка Солодовников, или... Ах, не мое дело? А тебе в мои можно соваться?.. Подумаешь, старше! Зато глупее!.. И не приду, буду ночевать у Павлика. Тебе же от мамы попадет!.. Что-о? Силенки не хватит!.. А вот так и смею! Подумаешь! Большая, а ревет..."

Что и говорить, скандал был не меньше восьми баллов, но я выстоял в этой буре. Я победил.

С тех пор никто не мешал нам. Вечер бежал за вечером. Они пролетали словно в тени больших парусов, на которых танцевали отблески огня. Что это было? Вспышки пушечных залпов? Отсветы пламени вулканов? Блики таинственных береговых костров? Едва сгущались сумерки, как белые паруса уносили нас в синюю страну бурь и открытий. И мы жили в этой стране, пока с улицы не доносился стук в дверь. Долгожданный стук.

Да, несмотря на радости хорошего вечера, ожидание этого стука все время жило во мне. Оно пробивалось сквозь книжные тревоги, опасности и тайны.

Отпирал дверь обычно Павлик. Он возвращался, и я спрашивал с замиранием:

— Чья мама пришла?

— Твоя, — говорил он со вздохом.

Я срывался и вылетал в кухню.

Не судите строго. Даже настоящие суровые капитаны становились маленькими в те минуты, когда им случалось встречать маму. Можно понять нас, мальчишек, росших без отцов. Мама — это было все. Мамино возвращение с работы — это была радость, о которой думали с утра. Пусть простят меня паруса и пассаты, что в этот счастливый миг я забывал о них. Я прижимался к маминому пальто, усыпанному бисером растаявшего снега, и мама говорила всегда одно и то же:

— Ой, Владька! Ой, ну сумасшедший ты человек! Я же вся ледяная, ты простудишься насмерть.

И я, худой семилетний малек с ноющими от ревматизма суставами, всегда отвечал:

— Я? Простужусь? Я закаленный, как тысяча айсбергов!

Потом мы шли из кухни в нашу крошечную прихожую, и я помогал маме раздеваться, пока Татьяна однообразно ябедничала на меня.

Потом мы садились пить чай с сахарином и звали Павлика, потому что его мама приходила еще позже.

После чая у меня начинали слипаться глаза. Неизвестно, как я оказывался в кровати. Мне снились корабли и скалы, о которые с равномерным грохотом разбивались бело-синие волны.

Я просыпался от этого грохота.

— Мама, что это?

— Спи, маленький, — говорила она. — Это радио. Салют в Москве. Наши взяли еще один немецкий город...

Каравелла

Карта и каравелла появились у нас почти в одно время. Карта — на сутки раньше.

В тот день я сидел дома, потому что утром старательно изобразил ужасный кашель. Татьяна разразилась длинной речью, обвиняя меня в лени и обмане, но мама вздохнула и разрешила в школу не ходить.

Итак, я лодырничал и пропустил важное событие, которое произошло в школе.

В положенное время вернулся с уроков Павлик. Окруженный морозным облаком, он ввалился в кухню и втащил за собой тонкие жерди, обмотанные грязной бумагой и марлей. Валенки его гремели, как ведра. С них сыпалась ледяная корка. Павлик поочередно дрыгнул ногами, и валенки, стуча, разлетелись по углам.

Я молча хлопал глазами.

Павлик тем временем гордо поднял жерди, потряхнул их, и предо мной с треском развернулась карта полушарий.

Со сдержанным торжеством Павлик сказал:

— Во! Видал?

Я оглушенно молчал. Первое впечатление было такое, словно непонятный великанище глянул на меня в синий бинокль.

Потом почудилось мне в карте что-то знакомое. Конечно, таких больших карт я раньше не видел, но все равно знакомое в ней было. Она была синяя и белая.

Два синих круга на белом поле. Желто-зеленые материки с темными жилками рек лишь чуть-чуть вносили пестроту.

Синий и белый цвета были главными.

Уже потом я заметил, что карта местами протерта насквозь, что белые края украшены желтыми подтеками, что один бок отсырел и бумага отклеилась от марли, а марля оторвалась от реек. Но в ту минуту я стоял перед ней, как перед заморской диковинкой, и ждал чего-то необычного.

История карты была связана у Павлика с первым плаванием и опасностями...

Наша маленькая школа занимала старинный дом, в котором до революции жил какой-то купец. Мы учились на верхнем этаже, а нижний, полуподвальный, всегда пустовал. Осенью и весной его заливало, а зимой там было холодней, чем на улице. Всем был известен давний порядок: весной и осенью — вода, зимой — холод. Но в тот день, когда я "болел", порядок был нарушен: случилось зимнее наводнение. Говорят, лопнула какая-то труба.

Первые два урока школа жила радостным ожиданием: все были уверены, что вода вот-вот замерзнет. Тогда нижние комнаты превратятся в чудесные катки. Можно будет со свистом носиться на скользящих валенках по гулким залам, можно будет играть в "буру", гоняя по льду пустые пузырьки из-под чернил.

Однако вода упрямо не застывала. Видимо, назло. Разведгруппы тайными путями проникали в подвал и возвращались с кислыми лицами. К третьему уроку в школе царило уныние. Только самые упорные не поддались печали. И Павлик не поддался.

После третьего урока он двинулся на разведку снова. Дверь в подвал была, конечно, закрыта. К тому же перед ней разгуливали две дежурные девчонки с карандашами, чтобы записывать нарушителей, и уборщица тетя Феня с метлой. Но у разбитого оконца, которое выходило во двор, никто не дежурил. Павлик пробрался к нему по сугробам. Он просунул голову и плечи в гулкий сырой полумрак. Конечно, сначала он ничего не увидел. Помещение было без окон — что-то вроде широкого коридора, куда выходили двери всех комнат. Павлик сжал в ладони и бросил вниз снежный комок. Он думал, что услышит всплеск незастывшей воды, но комок ударился обо что-то твердое. Лед?

Павлик перевесился через подоконник. Нет, черная вода поблескивала по-прежнему. А под окном приткнулись к стене три доски, сколоченные вместе. Это были остатки мостиков, по которым здесь ходили во время осеннего потопа.

Три сколоченных доски — это плот. Какой нормальный человек откажется от плавания по пустому подвалу, таинственному, как пещера капитана Немо! Павлик был нормальный человек. Он втиснулся в окошко вперед ногами, повис, держась за подоконник, и прыгнул на доски.

От удара и от тяжести край плота ушел на глубину. Вода залила валенки. Авария! Чтобы не было полной катастрофы, Павлик бросился с края на середину. Плот выпрямился и незаметно отошел от стены.

Только тут отважный капитан сообразил, что никакое судно не может плыть само собой, по щучьему велению. Нужен мотор, или парус, или, в крайнем случае, весло. Если нет весла, можно грести и ладонями, но для этого надо наклоняться, тянуться руками до воды. А как дотянешься, если плот качается? Вот-вот угодишь за борт. Ни присесть, ни наклониться.

Оставалось громко зареветь и сдаться тете Фене и дежурным.

Павлик не заревел и не сдался. Он представил, как поведут его на глазах у всей школы к директору Марии Павловне. Ужас! Под конвоем, в мокрых валенках. Под злорадное хихиканье девчонок! Не директора он боялся, а унижения.

Павлик на пиратский манер заскрипел зубами и прищуренно оглянулся, ища выхода. И нашел. В трех метрах от него поднимался над водой большой полуразвалившийся шкаф. Дверца его была украшена медной ручкой, похожей на узорный крюк. Павлик, вздрагивая от холода и злости, стянул с себя свитер и рубашку, снял ремень. Ремень он привязал к рукаву рубашки, а другой рукав узлом притянул к обшлагу свитера. Потом сделал на ремне петлю.

Он говорил, что накинул этот аркан на ручку шкафа со второго раза. Наверно, хвастался. Но так или иначе накинул. И подтянул бортом к шкафу свое судно. Край плота прижался к этому "причалу", и плот стал устойчивей. Павлик осторожно дотянулся до дверцы, чтобы оторвать рейку.

Рейкой можно было грести и отталкиваться. Он рванул. Дверь сорвалась и грохнула поперек плота. По подвалу грянуло барабанное эхо. Павлик присел, ожидая вторжения тети Фени. Но было тихо.

Стуча зубами, он оделся. Потом заглянул в шкаф. Там плавал большой глобус с пробоиной в районе северной Атлантики, а в углу стояли две большие палки, обмотанные грязной марлей. Сначала Павлик не подумал, что это за палки. Просто решил, что они длиннее и удобнее, чем рейка. И взял их.

— За них меня и вытащили, — сказал он. — А то как бы я выбрался? Окошко-то высоко, не уцепишься.

— Кто вытащил?

— Да так... Девчонка одна. Милка Журавлева. Она сзади меня на парте сидит. Я у нее чернила макаю, когда у меня нет.

Я хихикнул. Имя было коровье: так звали корову Таисии Тимофеевны. А Павлик неожиданно рассердился:

— А чего гогочешь? Кроме нее, никто не знал, что я туда полез! А она знала и прибежала посмотреть, где я. И вытащила. А кто бы еще вытащил? Ты, что ли?

Я гордо и обиженно ответил, что, конечно, вытащил бы, если бы был в школе. А Павлик сказал, что раз меня не было, то и хихикать нечего.

— Слушай лучше...

Только во дворе Павлик понял, какая у него ценная находка. Карта всего мира! Он решил, что школе она не нужна, а нам нужна очень. И сунул ее в снег.

Весь четвертый урок Павлик провел в беспокойстве: не украл ли кто-нибудь карту? Но она оказалась на месте...

Мы прогладили карту горячим утюгом, заклеили дыры, подровняли разлохмаченные края. Потом один конец верхней рейки положили на спинку кровати, а другой — на гвоздь, который Павлик нарочно вколотил в стену. Угол наш у печки оказался совсем отгороженным. Мы захватили в свои владения тумбочку, выкинули из нее всякий хлам и решили хранить в ней книжки.

Карта сделала уголок похожим на каюту. И все океаны, все земли были перед нами.

На следующее утро Павлик не пошел в школу. Не потому, что простудился. С ним-то ничего не случилось. Но чтобы просушить как следует валенки, Павлик затолкал их за печку, а она оказалась слишком горячей, и один валенок обгорел. У него обуглился бок и вывалилась пятка.

Открылась эта беда утром. Я услышал, как тетя Аня за стенкой кричит плачущим голосом:

— Паразит ты безмозглый, нет на тебя никакой погибели! Не мог ты сам сгореть у этой печки! Это что же такое делается на свете!

Затем донеслись удары, похожие на отдаленное уханье барабана. Я узнал после, что тетя Аня в великой досаде лупила дорогого сына обгоревшим валенком между лопаток. И в самом деле, как тут было не расстроиться? Других валенок у Павлика, разумеется, не было. Их надо было покупать или выменивать на толкучке. Чтобы купить — лишние деньги нужны. А чтобы выменять... Ну, на что обменяешь? Чаще всего меняли на хлебные карточки. Но ведь тогда с голоду совсем завоешь.

Однако лупи не лупи, горю не поможешь. К тому же после каждого удара валенок выбрасывал клубы едкой коричневой пыли. Тетя Аня закашлялась, швырнула остатки валенка под кровать и ушла на работу. Дверью грохнула так, что дом заколыхался и долго дзенькал стеклами, а наш старый самовар крякнул и осел на один бок.

Павлик остался дома. Я позавидовал такой его удаче и поплелся один в школу, потому что повторить свой трюк с кашлем не решился. Когда я вернулся, Павлик встретил меня на пороге. Сказал нетерпеливо:

— Пойдем, покажу что-то...

В комнате на черной клеенке стола лежала знакомая мне летняя испанка с кисточкой. Вернее, не лежала, а стояла торчком, пряча под собой что-то загадочное.

Павлик оглянулся на меня и поднял испанку за уголок. Поднял осторожно, словно там сидела удивительная бабочка и он не хотел, чтобы эта бабочка сразу улетела.

Она не улетела. Она оказалась белым корабликом.

Кораблик был нарисован на бумаге, вырезан и держался на маленькой подставке. То есть мне сначала показалось, что он нарисован, а потом я разглядел, что это печатная картинка.

Были у кораблика круглые борта, высокая узорчатая корма, туго надутые паруса разных размеров и форм. Самый маленький парус пристроился под задорно вздернутым бушпритом.

Удивительный был кораблик — весь наполненный ветром.

Павлик ласково сказал:

— Каравелла... Вот она какая.

Так появилась у нас каравелла.

В общем-то не случилось ничего необычного. Просто Павлик начал от скуки рыться в старых журналах и нашел в одном картинку с корабликом. Он безжалостно вырвал лист, наклеил вареной картошкой на кусок картона и очень аккуратно маленькими ножницами вырезал каравеллу. Потом он укрепил ее на подставке из разрезанной пополам картофелины.

А днем он показал каравеллу мне. Вот и все.

Но мы оба понимали, что это не все. Потому что очень хотелось необычного.

— Пойдем, — сказал Павлик.

Мы пролезли за карту, в нашу "каюту". На тумбочке вместо развалившейся электроплитки с чайником стояла старая лампа без абажура. Она ровно и неярко освещала пестрые земли и синие океаны. Без лампы здесь было бы темно: ведь печка не топилась.

Павлик посмотрел на меня с незнакомой какой-то улыбкой — немного смущенной и мягкой.

— Океаны есть, — сказал он. — Моря есть... Да, Владик? Можно плавать где хочешь...

Было тихо. За окнами далеко прогудел паровоз. Скреблась за шкафом старая, всем знакомая мышь. Еле слышно звенел в горячей лампочке волосок. Я молча поставил на ладонь каравеллу и поднес ее к карте. Она оказалась в Охотском море.

— Нехорошее место, — вполголоса сказал Павлик. — Японцы, подводные лодки.

Я кивнул и, качнув ладонью, повел каравеллу к выходу в океан, держась у берегов Камчатки.

Так началось Плавание.

Уставала рука. Ныло плечо, затекала кисть. Ведь плавания продолжались подолгу, и все это время приходилось держать кораблик у карты. В поднятой ладони.

Конечно, можно было сделать иначе. Можно было карту развернуть на полу, а каравеллу двигать по морям, как пешку по доске. Но мы так никогда не поступали. Почему? Трудно объяснить. Нет, мы не боялись открыть нашу "каюту": все равно все вечера мы были одни. Боялись другого: если сделаем что-нибудь не так, как вначале, исчезнет радость игры. Эта радость, окрашенная легким отблеском тайны и приключений, требовала многого. Ей нужен был тихий шелест висящей карты, потрескивание огня, покачивание ладони, на которой стоит каравелла. И даже ноющая усталость в руке была нужна. Так уставали руки рулевых после долгих штормовых вахт. Мы боялись что-то изменить. Так боялся легким шумом спугнуть лесную тишину или неточной линией испортить хороший рисунок.

Мы полюбили каравеллу радостно и крепко. Порой я забывал, что она просто плоский бумажный кораблик. Каравелла снилась по ночам — большая и настоящая. Подробно и ярко я видел, как подходит она к скрипучему деревянному пирсу и выпуклый борт ее нависает над грудями пузатых бочек, свернутыми в кольца канатами и причальными тумбами. Высоко поднимается корма, похожая на узорчатый дом с узкими окнами и балкончиками. Пахнут дегтем коричневые доски обшивки. Почему-то пахнут огуречным рассолом желтоватые свернутые паруса. На тугих, как струны, вантах сидят и весело скалят зубы парни в пестрых косынках. И вся каравелла, еще не остывшая от солнечного жара южных морей, дышит теплом, как подошедший вплотную паровоз...

Слова "мыс Горн", "Кейптаун", "Каттегат", "Тасмания" уже не звучали как непонятная музыка. Мы знали, где эти места, чем хороши и чем опасны. Мы прошли на своем судне через два океана вслед за Диком Сэндом, а потом повторили тяжелый путь Лаперуза. О Лаперузе прочитали мы в суровой и печальной книге "Навстречу гибели".

Тень нашей каравеллы скользила по океанам.

Еще в тот вечер, когда я впервые поставил каравеллу на ладонь, Павлик сказал:

— Ты не шурши ею по карте, держи ближе к свету. Пусть на карту падает тень. Там, где ляжет тень от бушприта, — там мы, значит, и плывем.

Я придвинул каравеллу к лампе, нацелив бушприт на мыс Доброй Надежды. Тень нашей каравеллы темной бабочкой легла на Индийский океан...

Там, где ляжет Тень Каравеллы, зашумят над волнами наши паруса и защелкают флаги. Там, где ляжет Тень Каравеллы, мы пройдем сквозь тяжелые удары выстрелов и штормовое завывание ветров.

Там, где ляжет Тень Каравеллы, будут трудные дороги, соль разъест на ладонях кожу, морозы сожгут лицо, солнце обуглит плечи. Тысячи загадок лишат человека покоя и сна. Но не будет там в жизни уныния и ленивой скуки.

Два капитана и Бобин Гапп

Павлик, брат мой и товарищ... Вот ведь как получилось! Семь лет жили рядом, перекликались по вечерам через тонкую стенку, спорили временами, вместе иногда в кино бегали, случалось потом — вместе шагали в школу. Заглядывали в гости, чтобы поболтать — просто так. И не знали до той зимы, как мы нужны друг другу.

А ведь были нужны, черт возьми! И не только в те вечера. Ведь недаром так отчаянно искали друг друга потом, хотя в жизни хватало иных забот.

Я помню, как встретились мы через... даже боюсь сказать, сколько лет. Я приехал к нему в окруженный соснами городок, взлетел по лестнице на третий этаж, отбиваясь чемоданом от возмущенного вахтера, толкнул дверь со знакомой фамилией на табличке...

Конечно, я знал, что не увижу там худого мальчишку с отросшей челкой над озорными глазами, в больших валенках и голубом бумажном свитере с широкой щелью застежки на левом плече. Но все же растерялся на секунду. Я увидел коренастого дядьку с залысынами, с рубцом на щеке. Дядька энергично орал в телефон. Я с удовольствием выслушал конец разговора:

— ...посылал и буду посылать! И не одну, а четыре экспедиции. Нет, четыре! Что?! Пусть катится со своей комиссией ко всем морским ведьмам! Вот так! — Он швырнул трубку на рычаг и поднял на меня глаза. Дядька был незнакомый, а глаза — Пашкины. — Значит, это ты и есть? — спросил он, остывая и делаясь насмешливым (вот язва, все такой же!).

— Свинство не писать столько времени, — сказал я, швыряя в кресло чемодан (кресло охнуло). — Бюрократ. Телефончики тут у него, понимаете ли... И скажи вашему вахтеру там, внизу, чтобы не кидался на меня, как на шпиона...

— Смотри-ка ты, — заметил он, прищурившись, — еще и ругается. Ну-ну... А в общем-то ничего, хорош. Длинные брюки тебе идут. И значок университетский...

— Лысая образина, — сказал я. — А ведь был когда-то похож на человека.

— Книжечки все пишешь? — спросил он. — Знаю, читал как-то. Одну. Ничего. Не Чехов, конечно...

— Он читал! — хмыкнул я. — Можно подумать, что он что-то читает, кроме своих графиков и отчетов. Растерял всю шевелюру над своими синхрофазомолотилками. Кабинетная крыса.

Мы медленно сошлись, меряя друг друга насмешливыми взглядами. Он вдруг облапил меня и тихо сказал:

— Владька... Владька...

— Павлик...

Но это было потом, долгое время спустя. А в ту зиму мы не думали ни о будущих встречах, ни о расставаниях. Мы были счастливы.

Среди огорчений и редких радостей школьной жизни, среди снежных игр и дневных забот Павлик оставался прежним. Как и раньше, убегал куда-то с незнакомыми мне Сергеем Сазоновым и Вовкой Брыком. На переменах со своими приятелями гонял во дворе обледенелый дырявый глобус, который у них назывался "мяпа". Строил с Дыркнабом какие-то сани с рулем. Правда, он не насмешничал, как раньше, но почти забывал про меня.

Но я пишу про Каравеллу. И та зима вспоминается сейчас не застывшими чернилами, не тетрадками, сшитыми из газет, не очередями у магазина. Она вспоминается как непрерывная цепь "корабельных" вечеров.

В ожидании такого вечера Павлик становился спокойным и ласковым. Он даже называл меня Владик, а не Владька, хотя Владькой меня звали все, в том числе и мама.

Я приходил к Павлику, когда за окнами плотно синели сумерки. Он меня ждал, не зажигая света. Бесшумно выходил из комнатного сумрака и вполголоса говорил:

— Пришел... Хочешь хлебушка?

Он вынимал из кармана плоский кусочек и ломал пополам...

Несколько лет спустя я услышал или прочитал где-то слова: "... и у огня он разломил с ним свой хлеб". Это были слова о братстве. Я вспомнил тот ломтик хлеба, частичку четырехсотграммового пайка.

Но это случилось потом. А тогда мы жевали кисловатый мякиш, разжигали печку и включали лампу. И доставали из тумбочки Каравеллу.

Мы не спорили об имени корабля. Он был просто Каравеллой. Мы не делили должностей и званий: оба были капитанами. Зато делили пополам не только хлеб, но и подвиги, и славу.

А подвигов было много. Вот их история, история Каравеллы, сложившаяся у огня и карты.



Однажды весной два моряка с миноносца "Летучий" попали в плен к фашистам. Эсэсовцы заковали их в цепи и отправили на гранитный остров у западных берегов Балтики. Ночью пленников держали в холодных фанерных бараках, а на рассвете угоняли на другой конец острова, где был тайный подземный завод. На заводе выпускались торпеды.

Конечно, два храбрых моряка не собирались работать на фашистов. Темной ночью они распилили цепи, стукнули часовых тяжелыми табуретками и отобрали у них автоматы. Потом беглецы бросились на аэродром, где стоял двухместный самолет начальника лагеря. Перестреляв охрану, они запустили моторы и взмыли над гранитными зубцами острова.

Моряками были, разумеется, Павлик и я.

Мы вырвались на волю! Сначала сбросили на завод бомбы, которые нашлись в самолете, а потом взяли курс на восток. Завод рвануло так, что самолет отбросило километров на сто! От удара мы потеряли сознание.

И я и Павлик были, конечно, хорошими моряками, но хорошими летчиками мы не были. Да и самолет был дурацкий — не наш, а немецкий. Мы заблудились среди туманов и туч. А потом ударил штормовой ветер, и нас понесло неизвестно куда. Горючее давно кончилось, но ветер был такой, что носил самолет, как бумажную голубку. А когда шторм кончился, мы увидели под крыльями волны океана.

Павлик посадил самолет. Машина была легкая и качалась на волнах, словно лодка. Из парашюта мы соорудили отличный парус, и пассаты несли нас по океану, пока не встал из воды заросший пальмами остров.

Там нас захватили в плен туземцы. Привязанные к пальмам, целый день мы жарились на солнце, а племя решало нашу судьбу. Наконец судьба была решена, и коричневые воины деловито зачиркали брусками по наконечникам стрел и копий.

— Скверное дело, — заметил Павлик. — Надо как-то сматывать удочки, а то продырявят в десяти местах.

Старый лохматый вождь Табу-Ретус, закутанный в плащ из нашего парашютного шелка, настороженно прислушивался к Пашкиным словам. Потом озабоченно заговорил по-английски (мы его, конечно, поняли):

— О чужеземцы! Речь ваша мелодична и совсем не похожа на карканье тех, кто прилетал сюда раньше на железных птицах с черными крестами. Кто же вы?

Мы горячо заверили почтенного вождя, что не имеем ничего общего с теми, кто прилетал сюда раньше, а "железную птицу" похитили у своих врагов.

В тот же вечер был большой праздник, и под бой барабанов племя смелых охотников за акулами приняло нас в почетные вожди. А старый Табу-Ретус, прослезившись от волнения, сказал:

— Мы были бы счастливы, если бы вы навсегда остались с нами. Но вы — отважные воины. Вас зовет дорога битв и подвигов. Мы не задерживаем вас. Много тысяч лун назад здесь впервые появились белые люди. Они приплыли и погибли, потому что пришли как враги. Остался их корабль. Он стоит в тихой лагуне. Он стар, но крепок. Вы пришли как друзья, и этот корабль — ваш. Да хранят вас демоны моря...

И мы увидели Каравеллу.

Удивительно, как она сохранилась. Даже краска на деревянных узорах кормы облезла лишь местами. На гладком полу кают лежали солнечные рисунки узких решетчатых окон. Под бушпритом, на блинда-рее, зеленой бахромой повисли пышные лианы. Казалось, что у Каравеллы выросли усы. Мы взяли за ручки штурвального колеса. Оно со скрежетом повернулось, шевеля заснувший руль: в порядке. Паруса истлели, но у нас хватало материи от парашютов. Днище было обито медью, и морские черви его не тронули.

На палубе мы увидели восемь позеленевших пушчонок и подарили их Табу-Ретусу. Нам требовалось иное оружие.

Мы вооружили Каравеллу малокалиберной пушкой с самолета, а потом, когда потопили пару немецких торпедных катеров, поставили еще несколько пушек и пулеметов.

И началась такая жизнь, что захватывало дух.

Мы жили в морях удивительных, как сон. В них бродили пиратские бриги, всплывали под звездное небо невиданные чудовища, у островов сквозь солнечную воду видны были затонувшие корабли. На них скрывались тайны и клады. А по горизонту, зловеще дымя, тянулись немецкие эскадры, еще не зная, какие беды им несет старинный корабль с блестящими парусами.

Для начала мы разгромили у берегов Тасмании парусную флотилию кровожадного Джимми Косопуза, а потом в северных фиордах утопили один за другим двенадцать фашистских катеров-торпедоносцев и сожгли их базу. После этого ушли в реку Амазонку, чтобы поохотиться на крокодилов. Это была не просто забава. Из крокодилих шкур мы хотели сшить водолазные костюмы, чтобы в них пробираться на вражеские корабли.

В устье Амазонки нас заперла немецкая подводная лодка "Летучая пиявка".

Командир "Пиявки" фюрер-капитан Боббин Гапп, размахивая белым флагом, явился на борт Каравеллы. Он был худой и длинный, как грот-мачта, с лошадиной головой и блестящими стальными зубами. На его высокой фуражке сверкал череп со скрещенными якорями. Приятно улыбаясь, Боббин Гапп заявил:

— Я буду иметь предложить вам сдаваться. Ваша борьба есть без пользы. Если вы сдасться, мы вас отпускать домой. Если нет, мы вас бросим к акула.

— Мы будем иметь дать вам по шее, — учтиво ответил Павлик, — если вы сейчас же не уберетесь на ваш ржавый бочонок. А потом мы будем иметь пустить вас на дно. Только жаль акул, которые отравятся вашим протухшим мясом.

Боббин Гапп отправился восвояси и вызвал по радио на помощь два миноносца и пиратский клипер "Три кашалота".

Конечно, мы обманули врага и ночью ускользнули в океан. Однако на следующий день "Пиявка" и ее друзья стали догонять нас. Отстреливаясь, мы растянули на реях и штагах всю материю, до последней салфетки.

К счастью, дул хороший ветер с веста. Клипер мы подожгли, а миноносцы и субмарина отстали.

Это был горячий денек и счастливый вечер. Ох, какая это радость, когда выигран бой, остывают стволы, ветер поет в такелаже, а впереди свободное море!

...В пятнадцать лет, когда, как и всем, пришла мне пора писать стихи, я вспомнил подвиги Каравеллы и об этом вечере оставил такие строчки:

В ушах утихнул звон,

И сумерки легли.

Ушли за темный горизонт

Чужие корабли.

Мы без огней плывем во тьме,

Уйдя от всех погонь,

И лишь украдкой на корме

Горит, как свечка на окне,

Нактоузный* огонь.

В тот раз мы ушли от "Летучей пиявки", но скоро она догнала нас и опять несколько раз посылала в нас торпеды. К счастью, мимо. Ночью мы подкараулили, когда "Пиявка" всплыла, чтобы набрать воздуха, и вlepили ей в рубку два снаряда. От такого "гостинца" Боббин Гапп сразу потерял смелость и повел свою посудину на базу ремонтироваться.

Пока он ремонтировался, мы освободили узников в том самом лагере, из которого бежали, побывали в Севастополе, где получили награды от командующего флотом, потом боролись с ураганом в гремящих сороковых широтах, охотились за работорговцами на южном побережье Африки. И наконец решили навестить старого друга Табу-Ретуса.

У самого острова нас опять настигла проклятая "Пиявка". Мы едва успели проскочить в лагуну.

Мы сидели в гостях у охотников за акулами, а гнусный Боббин Гапп на своей посудине болтался у входа в лагуну и каждый день присылал с парламентарями ехидные письма.

Мы жаловались Табу-Ретусу:

— Чертово подводное корыто! Если бы вытянуть его на поверхность, мы бы дали ему прикурить! А под водой как его достанешь?

Мудрый Табу-Ретус думал.

— О мои братья, — изрек он наконец, — я думаю так: эта злая "Пи-явка" все равно что большая морская черепаха из железа. А ловить больших черепах наши охотники умеют с давних пор. Нужны рыбы-прилипалы.

Про таких рыб мы слышали. Это очень ленивые морские твари. Чтобы не плавать самим, они присасываются к кораблям, к китам и даже к акулам и путешествуют вместе с ними...

Итак, Боббин Гапп радостно потирал руки, а мы ловили тем временем рыб-прилипал целыми сотнями и дрессировали их в лагуне. Потом мы привязали к хвосту каждой рыбы длинный линь из кокосового волокна и смело вышли в море.

Конечно, "Пиявка" бросилась на нас, но, прежде чем она успела выпустить торпеды, к ней устремились две тысячи дрессированных прилипал. Они облепили лодку со всех сторон. Мы запустили лебедку и подтянули Каравеллу вплотную к "Пиявке". Она болталась под нами на глубине пяти метров! Теперь Боббин Гапп не мог ударить нас торпедами. От взрыва развалилось бы его собственное корыто. "Пиявка" включила двигатели и долго таскала нас по морю. Потом у нее кончился воздух, и она всплыла.

Это было последнее всплытие "Летучей пиявки". От залпа наших пушек она развалилась на две части и пошла на дно.

Боббин Гапп выбросился через торпедный аппарат. Он долго плыл за Каравеллой, просил прощения, кричал и плакал. Потом его съел кашалот.

* *Нактоузный огонь* — лампочка на нактоузе (стойке, на которой укреплен корабельный компас).

Дюймовочка

По вечерам на морях и океанах мы совершали удивительные подвиги, но днем нас одолевали невзгоды. Особенно Павлика. Главной невзгодой была арифметика. Большие красные двойки с маленькими злыми головками все чаще проникали в Пашкины тетради. Это были отвратительные двойки, похожие на извилистых дождевых червей.

— У, глисты подлые! — брезгливо говорил про них Павлик.

Тетя Аня подолгу разглядывала тетради, а потом начинала кричать, что выдерет оболтуса и мучителя, как сидорову козу. Чтобы она не перешла от слов к делу, Павлик ускользал ко мне. И говорил шепотом:

— Шторм одиннадцать баллов. Отсижусь, пока не утихнет.

Утихала тетя Аня быстро, и Павлик начинал жить по-старому.

Но однажды, в конце февраля, он вернулся из школы притихший и растерянный.

— Скверное дело, — мрачно сказал он. — Милку ко мне прикрепили. Совсем поганое дело.

Я молчал, ожидая подробностей.

— По арифметике меня вытягивать будет, — сообщил Павлик. — Такое у нее пионерское поручение. Она у нас звеньевая. Понятно?

— Понятно, — сказал я. — Это она тебя из подвала вытянула?

— Лучше бы не вытягивала, — сказал Павлик.

И вот она появилась. Высокая девчонка, выше Павлика. В перекошенном капоре, в маленьком полушубке, подпоясанном шарфиком, в лыжных штанах и подшитых валенках. Мы с Павликом вместе открыли ей дверь.

Милка взглянула на нас и почему-то удивилась:

— Ой, Пашка! А я тебя знаешь как искала! Я думала, ты в том доме живешь, на втором этаже...

Павлик пожал плечами и пробормотал что-то насчет думающего индюка. Потом неласково заметил:

— Дверь захлопни, а то холоду напустишь.

Милка не обиделась.

Мне она, конечно, не понравилась. Во-первых, некрасивая: долговязая, волосы короткие, будто у мальчишки, не то рыжие, не то коричневые какие-то. И рот большущий, как у акулы. Во-вторых, при таком росте надо быть поумней.

А она болтала, хихикала и удивлялась самым простым вещам.

Про старые стулья она со смехом сказала:

— Ой, какие забавные!

А что забавного? Скрипучие, облезлые, надоевшие. Только на спинках вырезаны по два дерущихся петуха. Может, и правда интересно с непривычки, но чего уж так веселиться!

Потом она удивилась медведю. Это был коричневый фаянсовый медведь с отбитым ухом. Он сидел на зеленой кочке и тянул мед из запрокинутого бочонка.

— Ой, какой смешной!

После медведя Милка обратила внимание на меня. Тихонько спросила:

— Пашка, а это кто?

— Это Владик, — ответил Павлик. — Я же тебе говорил.

— А-а, — сказала Милка и почему-то сделалась серьезной.

Павлик виновато глянул на меня и сурово сказал Милке:

— Давай решать задачки... раз уж пришла. А то провозимся до вечера.

Я усмехнулся про себя: влип бедняга Павлик. И отправился к себе...

В тот день рано пришла из техникума Татьяна. Она решила помочь мне готовить уроки и довела до слез. Потом я взбунтовался и довел до слез ее. В этот момент постучал Павлик и вызвал меня на кухню.

— Нарешались? — сказал я. — Ушла?

— Не... — Павлик вздохнул. — Понимаешь, Владька, ей нельзя... У нее отец неродной. Он над ней всегда издевается, когда матери нет. А мать поздно приходит...

Я почувствовал сразу, как неловко ему, как трудно говорить.

Он, наверно, в кухню вытащил меня нарочно: здесь, в полутьме, почти не видно было лиц. Незаметно, если покраснеешь. И я уже знал, что он скажет дальше.

Павлик сказал:

— Знаешь, пускай она... посидит сегодня. У нас. А?

Ну что я мог возразить? В конце концов, ведь это она вытащила Павлика из затопленного подвала.

Я только спросил:

— А как... А Каравелла?

— Ну и что? — быстро сказал Павлик. — Думаешь, она не сможет играть? Думаешь, она глупая? Она только кажется сперва, что глупая, а на самом деле умная. Она...

Вот уж этого я не ждал! Нашу Каравеллу, нашу тайну — какой-то девчонке? Павлик спятил! Нет, в самом деле, что за чушь!

Но пока я искал слова, чтобы выразить все возмущение и обиду, Павлик опять торопливо заговорил:

— Ты знаешь, какие она книжечки принести может? У нее дома целая куча, вот честное слово, хоть сам спроси, она сама скажет. Вот увидишь, еще лучше будет. Ты, Владька, только на нее не дуйся, а то она тебя боится.

— Меня?

Честно говоря, я клюнул именно на эту удочку. Все-таки здорово, если тебя, первоклассника, боится такая дылда.

В тот вечер игра не клеилась. У меня слова просто застревали. Стеснялся я при Милке открывать наши секреты и придумывать новые. И злился на нее. Да и Павлику было неловко; он только старался делать вид, что все в порядке.

Наша Каравелла увязла на одном месте, словно в мучном киселе. Мы не могли придумать ничего интересного.

Милка, наверно, все понимала. Но не уходила, сидела. Серьезная и внимательная. И вдруг сказала, не глядя на нас:

— Я одну книжку читала про саблезубых тигров. Они на острове жили. Давайте откроем такой остров. И устроим охоту...

Ветер слабо шевельнул наши паруса.

— Этот остров какой? — с надеждой спросил Павлик.

— Как "какой"?

— Ну, какие берега, скалы, деревья? — мрачно пояснил я. — Надо же знать. Думаешь, так просто? Открыли — и все? А вдруг перед ним подводные рифы? Как напоремся...

— Какой ты скорый! — запальчиво сказала Милка. — Открой, тогда и узнаешь! Конечно, рифы... Надо на шлюпке разведать, а не лезть наобум.

— Вот и отправляйся, — предложил я. — На шлюпке... А нам нельзя. Мы руль должны держать и паруса.

— Хорошо, — негромко сказала Милка. Помолчала и заговорила, глядя в огонь: — Ну вот... Это большой остров... Не очень большой, средний. У него берега высокие. Желтые от глины. И скалы высокие. А наверху сплошные джунгли. С одной скалы бежит в море ручей. А на обрыве стоит каменный идол, большой такой и зубастый. Его дикое племя сделало. Только сейчас племени нет, его все сожрали саблезубые тигры.

— Вот скоты! — обрадованно сказал Павлик и дернул затвор воображаемого карабина. — Ну, мы им дадим!

Вечер окончился полным истреблением свирепых зверей. Только двух мы взяли живьем, чтобы приручить.

И все-таки вечер был не таким, как раньше. Вдвоем было лучше. Я утешил себя тем, что Милка больше, наверное, не появится.

Но она появилась. На следующий день.

— Смотри, что она придумала! — бодро сказал Павлик, а глаза у него были виноватые.

Милка догадалась, как делать над морями день и ночь. Она принесла два лоскутка: белый, с вышитым желтым солнцем, и черный, шелковистый, с белыми бумажными звездочками. Эти лоскутки можно было по очереди расстилать на тумбочке.

Если бы такое дело выдумал Павлик, я бы сразу сказал, что это здорово. Но сейчас мне стало обидно.

Я придрался:

— А если вечер? Или утро? Тогда как, а?

— Что-нибудь тоже можно придумать, — тихо сказала Милка. — Я сегодня дома подумаю.

Она это мне говорила, а не Павлику. Словно спрашивала у меня разрешения. Была она сейчас какая-то нерешительная, сидела на краешке стула и разглядывала свои валенки. В эту минуту я понял: плевать ей на Пашкину арифметику.

— Ну... давайте, что ли, — хмуро сказал я и первым полез под карту, в нашу "каюту".

В тот вечер дела шли лучше. Милка почти не робела, я уже не стеснялся, Павлик был рад, что мы не дуемся друг на друга.

Когда Милка ушла, Павлик потоптался со мной и неловко сказал:

— Послушай... Пускай уж она приходит... если ей так охота.

Что было делать? Я согласился, хотя и без восторга:

— Пускай...

Прошла неделя, и к Милке я почти привык.

Я привык, но все еще смотрел на Милку косо. Это была тоже привычка.

Как-то после уроков Милка догнала меня у дверей школы. Она шла чуть позади, возвышаясь надо мной, как Гулливер над лилипутом. Гулливер в кривом оранжевом капоре. Павлика с нами не было: его оставили учить стихотворение, которое он не выучил дома.

Мы шагали молча, и Милка временами шумно вздыхала у меня за плечом. Это меня злило. А день был синий от неба и ярко-желтый от солнца. Звенела каплями оттепель, и радостно галдели

воробьи на потемневшей дороге. Не хотелось ссориться в такой день. Я решил очень просто отвязаться от Милки: постою с минуту, будто любясь каплями, а она пускай двигает дальше.

Я остановился у ржавой водосточной трубы. В полметре от земли она круто изгибалась, а ее срез был украшен сосульчатой бородой. С бороды стеклянным горохом сыпались капли. Иногда они сливались в искристую струйку, но тут же опять разбивались на шарики.

Под трубой была бугристая наледь. Капли выбили в ней ямку с чайное блюдце. Вода в этом круглом озерке брызгала и пузырилась. Ей не хватало места, и она проточила в наледи канавку. Хрустальный ручеек сбегал с ледяной горки и нырял под снежный пласт у тротуара.

Я стоял и смотрел. Эта прилипала Милка тоже остановилась.

И вдобавок сказала:

— Как красиво...

Я бросил портфель и сел на корточки. Брызги ледяными иголочками начали колоть лицо. Я подобрал раскисший спичечный коробок и пустил его в пляшущую лужицу. Он запрыгал под ударами капель, а потом боком-боком подвинулся к истоку ручейка, протиснулся в ледяной желобок и заскользил вниз, царапая донышко.

— Как кораблик! — обрадованно сказала Милка. — В него бы Дюймовочку сейчас посадить. Да?

Я хмуро глянул через плечо:

— Чего?

— Дюймовочку... Ты что, не слыхал про Дюймовочку?

Я пожал плечами.

— Ну и что? Наверно, зенитка какая-нибудь. Трехдюймовка — полевая, а дюймовочка — мелочь какая-то. Зачем ее на корабль ставить?

Тут я впервые увидел, как Милка хохочет. Она запрокинула голову, зажмурилась и переступала с ноги на ногу, будто стояла босиком на горячем тротуаре. И заливалась: ха-ха-ха-ха-ха... Без перерыва, без роздыха. Капор съехал совсем на затылок и пламенел под солнцем, как петушиный гребень. Волосы сияли медным блеском.

— Дура, — сказал я коротко и сурово. Поднялся и взял портфель.

Смех ее обрезало, будто ножницами. Милка заморгала и жалобно спросила:

— Ну зачем ты сердишься?

Я не ответил и пошел прочь, гордо помахивая портфелем. Ей, длинноногой, ничего не стоило догнать меня. Она вышагивала сзади и оправдывалась:

— Я же не знала, что ты не знаешь. Дюймовочка — это не зенитка совсем, а девочка, такая маленькая, меньше спички. Такая сказка есть в книжке.

Подумаешь, девчонка меньше спички! Я про Гулливера читал, там этими лилипутками кишмя кишит! Чтобы посильнее досадить Милке, я сказал:

— Если читала, значит, хвастаться надо, да? Ну, давай, давай хвастайся! Гогочи, как гусыня! Сама тогда наобещала: "Книжечек интересных принесу", а вместо книжечек — фиги. Ни одной еще не дала. Где они, твои книжечки, а?

— Ой, ну пожалуйста! — обрадованно зашпешила Милка. — Ну, хоть сейчас! Давай зайдем! Зайдем, а? Ну, Владик...

Она здорово меня упрашивала. Я поупрямился с полминуты и пошел с ней.

Милка жила в одноэтажном бревенчатом доме. Один угол у дома круто осел, и окна перекошились, как у выброшенного на отмель корабля. Я не стал заходить, потому что помнил про Милкиного неродного отца. Милка вынесла мне пухлого "Следопыта" и плоскую серую книгу с тремя сказками: "Дюймовочка", "Стойкий оловянный солдатик" и "Бременские музыканты". До сих пор не понимаю, почему две сказки Андерсена были напечатаны вместе со сказкой братьев Гримм. Потом я долго путал этих писателей.

Сказки я прочитал не сразу, потому что сначала налег на "Следопыта". Читать его было трудно, а оторваться еще труднее.

Так или иначе, с Милкой мы помирились. Правда, через несколько дней снова чуть не получилась ссора. Я пришел к Павлику, когда они с Милкой дружно хохотали, повторяя сквозь смех слово "Дюймовочка". Увидели меня и смеяться перестали. Горькое подозрение зашевелилось во мне.

Павлик сказал:

— Милка рассказывала про Дюймовочку. Как ты подумал, что это пушка.

Я онемел от возмущения. Такое предательство!

Но Павлик продолжал как о пустяке:

— Только это еще не так смешно. Вот я, когда в первый раз слово "каравелла" услышал, думал, что это верблюдица, которая в караване ходит...

Милка снова захохотала. Это было и вправду смешно, и я подавил обиду.

В тот день сырой, тяжелый ветер начинал весну. Натужно скрипели заборы. На крышах приподнимались и грохали железные листы. Снег темнел и оседал, как промокший сахар. Из него хорошо было скатывать тугие снежки, но никто не скатывал — такой ветер! Это был зюйд-вест, теплый циклон с южных морей.

Возвращаясь из школы, я встретил двух моряков. Сначала я не удивился. Много моряков лежало в городском госпитале, и перед выпиской они часто гуляли по улицам. Но эти были не из госпиталя. Они шли с автоматами. Странно...

Один был в черной ушанке, второй — в бескозырке. Он шагал, наклонившись навстречу ветру, смеялся и держал в зубах ленточки, чтобы бескозырку не унесло. Совсем как в штормовых книжках о море.

Мне показалось почему-то, что эти моряки и тяжелый серый ветер связаны друг с другом. Даже представилось на миг, что на реке, под желтыми обрывами, толпятся вперемешку башенные крейсера и высокие бриги с отсыревшими парусами. Но я знал, что река еще подо льдом...

Небо навалилось на крыши громадой темно-синих туч. Эта плотная синева рождала глухое беспокойство. Ветер нес ожидание каких-то непонятных и тревожных событий. И я не удивился, когда такое событие в самом деле произошло.

Исчез Павлик.

Он не пришел из школы.

До вечера никто не беспокоился. Просто некому было беспокоиться до вечера. Только меня грызла досада: носится где-то со своими друзьями, в снежки играет. А может, с Милкой. Читают там свою "Дюймовочку". Хотя нет, книжка-то у меня.

Стемнело, а он не пришел. Может быть, у матери в кино сидит?

Ветер старательно расшатывал дом. Я не стал готовить уроки. Не дождавшись Павлика, я уснул одетым и увидел во сне, что синие тучи — живые. Они тяжело и дружно взмахивали сырыми крыльями. Павлик держал в стиснутых зубах ленточки бескозырки и прижимался спиной к мокрому забору. Над забором, среди брызг и рева ветра, медленно поворачивались башни крейсера.

Меня растолкала мама:

— Владька, где Павлик?

Я будто и не спал. Отчетливо понимая, что случилась беда, я тихо сказал:

— Не знаю. Я сам ждал...

За стенкой громко плакала тетя Аня.

— Ты его видел сегодня?

— В школе.

— А потом?

— У них пять уроков было. У нас четыре. Я домой ушел. А он не пришел... Его нет?

— Его нигде нет, — вполголоса сказала мама. — Анна Васильевна всех мальчишек обегала, тех, кто знает. Где он еще может быть? Не знаешь?

— Не знаю.

Ходики показывали двенадцатый час. По-прежнему ровно и могуче гудел зюйд-вест. Я украдкой натянул пальто и шапку.

На крыльце ветер ударил меня тяжело и упруго. Я грудью почти лег на тугие потоки воздуха и пошел темными переулками к Милкиному дому. Я не боялся ни темноты, ни жуликов. Не боялся даже того, что придется среди ночи колотить в дверь чужого дома и будить незнакомых людей. Ветер был такой, что уносил все страхи.

Ночь свистела в тополях. Она казалась такой же, как та, во время которой погиб старый Билли Бонс. Но сейчас опасность грозила не книжному Билли...

По-моему, я очень быстро добрался до Милкиного дома. А может быть, так показалось: минуты летели стремительно, со скоростью ветра. В окнах была темнота. Я некоторое время спорил с ветром, который навалился на калитку со стороны двора и не давал открыть ее. Потом поймал секундное затишье и проскочил во двор.

На крыльце я впервые почувствовал опасение. И тогда, чтобы оно не успело вырасти, я несколько раз ударил валенком в дверь. Бухающие удары мягко отдались в доме. Мне вдруг очень захотелось, чтобы никто не ответил, не вышел. Но пока я так думал, в окошке рядом с крыльцом засветилась желтая щель. Потом взвизгнула дверь в коридоре и заспанный, хриплый голос мужчины сказал:

— Ну вот... Кого там еще?

— Милку надо! — с отчаянной решимостью потребовал я. Кажется, и мой голос тоже прозвучал сердито и хрипло.

Я ждал ругательств и расспросов, но услышал, что дверь захлопнулась. Вот и все. Никто, конечно, Милку не позовет.

Но щель в окошке не гасла. Потом опять завизжала дверь и зажегся свет в коридоре.

— Кто? — негромко спросила Милка.

— Открой.

Она открыла, больше не спрашивая. И сказала без удивления:

— А, Владька...

— Где Павлик? Знаешь?

— Нет, — поспешно сказала она. — Вот чудной! Ну откуда же я знаю? Ничего я не знаю.

— Он тебе ничего не говорил?

— Ничего.

Вот и все. Спрашивать больше было нечего. Милка стояла на пороге, переступая большими мужскими валенками и придерживая на груди запахнутое пальтишко.

— Ладно, я пошел.

— Подожди... А его дома нет, да?

"Вот дура", — подумал я.

Она окликнула снова:

— Владька! Ты не бойся... С ним ничего не будет.

— Иди домой, — сказал я от калитки.

Теперь ветер бил в спину. Он донес меня до дома, как перышко. А на пороге, тоже как перышко, меня подхватила мама и наградила довольно весомым подзатыльником.

— Негодный мальчишка!.. Прикажешь еще из-за тебя нервы трепать?! Мало нам одного. Где ты был?

— У девочки одной... Про Павлика узнать.

— У девочки... — сказала мама, остывая. — Ну... узнал?

— Ничего она не знает.

— Тоже додумался! Один ночью! Мог бы ведь меня позвать!

Я молча разделся и залез под одеяло. "Меня позвать"! Кто слышал, чтобы капитаны, отправляясь в поиски, брали с собой мам?

Я лег, и тут пришла запоздалая обида.

— На улице такой ветрище, — громко сказал я, — такой холод, а она дерется! Драться-то легко...

— Мало тебе еще, — заявила со своей кровати Татьяна.

Я свернул в тугую муфту подушку, чтобы запустить ею в любимую сестрицу. Но тут навалилась усталость, которая не оставила места ни для обид, ни для тревог. Я уснул, как провалился.

...Наутро я узнал, что Павлика по-прежнему нет.

— Поторапливайся, — сказала мама.

Мысль об уроках мне казалась дикой. Но маме она дикой не казалась, и меня прогнали в школу.

В школе никто не знал, что Павлик потерялся. То есть учителя, наверно, знали, но ребятам не говорили. Милку я не нашел: видимо, не пришла.

Уроки тянулись бесконечно. Я списывал с доски примеры, писал в тетрадке какие-то слова, смотрел в "Книгу для чтения", а мысль была одна: "Павлик... Павлик... Павлик... Павлик... Павлик... Павлик..."

Может быть, он попал под грузовик? Но тогда мы это уже знали бы. Может быть, его убили грабители? Но зачем его грабить? Пальто все в заплатках, валенки дырявые. Может быть, его похитили шпионы? Но для чего? Если бы у него отец был какой-нибудь важный командир... Но у него еще до войны отца не было никакого.

Уроки все-таки кончились. Нельзя сказать, что я мчался к дому стрелой. Я боялся узнать, что еще ничего не известно.

Павлик был дома.

Мама тоже была дома, собиралась в редакцию на ночное дежурство. Она рассказала, что Павлика принес на руках пожилой хмурый железнодорожник. Он посоветовал тете Ане выдрать своего беспутного сына. Тетя Аня драть Павлика пока не стала, потому что у него болело разбитое колено. Она только заплакала, велела Пашке лежать и ушла на работу.

С Павликом случилось вот что. Вчера на улице он, как и я, увидел моряков. И пошел за ними. Моряки шли на станцию. Там на дальних путях стоял эшелон. Морской эшелон. На площадках товарных вагонов сидели матросы с черными автоматами. Пересекая стрелки, выскакивая из-под вагонов, огибая шипящие паровозы, к теплушкам бежали моряки. Вдоль состава пролетел лязгающий грохот. Вагоны тронулись. Видимо, Павлик решил, что сейчас или никогда. Судьба послала ему удивительный случай. В одну секунду он мог оказаться в мире замечательных людей, черных бушлатов, боевых автоматов. А дальше — стальные настоящие корабли, настоящее море, матросский воротник и звание юнги... Он сжал зубами ручку портфеля и прыгнул на подножку...

Наверно, это было так. Точно я не знаю. Говорить об этом с Павликом не пришлось.

Эшелон шел без остановок до ночи. Он спешил на восток. На Дальний Восток.

Ночью на маленькой станции, когда за Павликом пришли два милиционера, он прыгнул из вагона, не устоял и, упав, ударился коленом о рельс...

Едва дослушав маму, я бросился к двери.

— Не ходи, — строго сказала мама. — Он сейчас спит. — И добавила вполголоса: — Фокусники...

Через полчаса громко ухнула перегородка. Это Павлик, вызывая меня, бросил валенком в стенку...

Он сидел в кровати, укрывшись до пояса одеялом. Там, где у Павлика было колено, рыжее одеяло вздулось, будто под ним лежал футбольный мяч. Столько бинтов намотали.

Я стоял и смотрел на эту одеяльную опухоль. Павлик тоже стал смотреть на нее: обоим было неловко.

— Болит? — спросил я.

— Сейчас не болит. Вчера здорово болело.

— Как это ты стукнулся?

— Об рельсу...

Мы замолчали. Нам впервые трудно было разговаривать. Павлик нехотя спросил:

— Тебе, наверно, все рассказали?

— Ага.

Я видел: ему не хочется рассказывать. Кому приятно говорить о своем поражении?

— Тетя Аня сильно плакала, — хмуро сказал я.

— Знаю... Беспокоилась.

— Думаешь, я не беспокоился? — сердито спросил я.

Павлик спокойно повторил:

— Я знаю. Но это же недолго. Завтра бы Милка все рассказала.

— Милка?!

Он даже вздрогнул.

— Милка? — сказал я. — Она знала?

— Ну... да, — кивнул Павлик. — Она же со мной была. До самой станции, до вагона. А ты думал, я никому, что ли, не сказал?

Такой был ветер в ту ночь... Наверно, раз в сто лет бывает такой ветер. С ног сбивал. А я шел. Я шел, чтобы правду узнать, а она...

— Что же она мне наврала? Я же ночью нарочно ходил...

— Она не виновата. Я ей велел два дня никому не говорить.

— И мне?

— Я ей просто сказал: "Никому". Ну, Владька, некогда же было!

— "Некогда"... — сказал я. — Ей, значит, можно было знать, а мне нельзя, да?

— Тебе же лучше. Тут бы из тебя все жилы вымотали: как, да что, да не знаешь ли... А так ты и по правде ничего не знал.

— Думаешь, проболтался бы, да?

(Конечно, молчать было бы трудно, когда видишь, как убивается Пашкина мать. Но он-то этого не знал. Как он смел во мне сомневаться?)

— Врешь ты, — сказал я. — Ты нарочно велел не говорить мне. Скажешь, не нарочно? Ну, скажи "честное морское".

Он молчал.

— Я тебе всегда все говорил, — с горечью сказал я. — А ты...

— "Всегда"... Что ты мне говорил?

— Все говорил! Как в ручей в овраге провалился, говорил! И как два патрона нашел! И как в тетрадке "кол" соскоблил, и как...

Я вдруг замолчал. Да, я открывал ему все свои тайны, но что это были за тайны! Подумаешь, "кол" в тетрадке...

Ну, а разве я виноват, что большой тайны у меня никогда не было? Разве бы я скрыл?

Мы оба читали одни и те же книжки — про людей, откровенных и надежных, как сталь. Мы оба знали одни и те же законы верности и чести. Оба знали, что в друзьях не сомневаются, не лгут, не предадут их. Он нарушил закон.

— Предатель, — сказал я. И это был конец.

— Кого я предал? — спросил Пашка и, шевельнув ногой, сжал зубы. Наверно, от боли.

— Сам знаешь кого. Конечно, не ее, Милочку свою. Целуйся теперь с ней, с невестой...

— Заткнись, — внушительно посоветовал Павлик. — Думаешь, если нога болит, так я не встану?

— Встань, — сказал я и ощутил прилив ясного бесстрашия. Обида заливала меня. — Ну, встань, я не уйду. Не бойся, я маленький. Стукнуть можно, сколько хочешь. Думаешь, я тогда не скажу, что ты предатель?

— Слезки уже капаят, — мрачно заметил Павлик. — Нюня. Правильно, что она не сказала тебе.

Слезки еще не капали, но были уже близко. Чтобы он не видел их, я ушел, захлопнув дверь, которую потом не открывал ни разу.

Один

С этого дня мы стали жить порознь.

Каравелла больше не уходила в опасные плавания. Видимо, навсегда она осталась в скучной болотистой лагуне. Обрастали тягучими лианами мачты, ветшали паруса. Киль покрывался наростами из ракушек. Днище точили морские черви торадо.

Милка больше не приходила к Павлику. Может быть, он и с ней поссорился?

От скуки я взялся за Милкину книжку и прочитал всю. "Дюймовочка" мне не понравилась. А "Оловянный солдатик" понравился. Это была смелая сказка, хотя и с печальным концом. Я ее читал три раза. А "Дюймовочку" больше не читал — было почему-то грустно.

Иногда я думал о том, как все глупо получилось. Столько было хорошего, а потом один короткий разговор — и все. Разве так бывает, если настоящая дружба?

Но разве была не настоящая?

Временами казалось мне, что ничего не случилось. Особенно по вечерам. Я слышал сквозь тонкую стенку, как Павлик ходит по комнате, двигает поленья у печи, шелестит листами книги. В такие минуты я был почти уверен, что все можно поправить. Надо пройти через кухню, тихо потянуть на себя дверь. Она отойдет с жалобным скрипом. Павлик шагнет из полумрака и тихо скажет: "Пришел... Хочешь хлебушка?"

Наверно, так и надо было сделать. Надо было... А я сидел один в своей комнате и листал давно прочитанные книжки.

Однажды Павлик подошел к моей двери:

— Владька...

— Что? — откликнулся я, и сердце у меня подпрыгнуло.

— Ну, открой.

— Зачем? — капризно сказал я. Дурацкое упрямство подавило секундную радость.

— Просто так, — тихо сказал Павлик.

— "Просто так" делает дурак, — холодно сообщил я.

Павлик помолчал. Потом медленно спросил:

— Трудно, что ли, открыть?

— Мне мама не разрешает никому открывать.

Павлик постоял еще и зашагал к себе, шлепая по полу оторванной подошвой подшитого валенка. Потом я услышал, как он оделся и ушел из дома.

Я все еще стоял и смотрел на дверь, которую не открыл. Она была в желтых чешуйках облупившейся краски. По чешуйкам, неловко семеня, спешил вверх маленький серый паук.

Я вернулся в комнату, лег на кровать и отвернулся к стене. В доме было тихо и пусто.

...Через неделю Павлик с матерью уезжали. Не знаю точно, что случилось. Подруга тети Ани уступила им не то навсегда, не то на время маленький свой дом на соседней улице, а сама куда-то укатила.

Я стоял, прижавшись щекой к стеклу, и смотрел, как Павлик уезжает.

День был теплый, но серый и скучный. Низкорослая печальная лошадь подтянула к крыльцу широкие сани. Круглые бока лошади были сырыми. Волос на них слипся в кривые короткие сосульки.

Где-то среди веток отчетливо и громко кричал воробей: "Чиф!.. Чиф!.. Чиф!.." Лошадь дергала ушами. Ей, наверно, не нравился этот надоедливый крик. Мне он тоже не нравился.

Анна Васильевна и Павлик выносили вещи. Знакомые стулья с "петушиными" спинками, тумбочку с фарфоровым шариком вместо ручки, желтую этажерку. Под открытым небом эти вещи казались маленькими и какими-то беззащитными. Стали хорошо видны их царапины и заплаты.

Павлик вынес одноухого медведя. Он поставил его на облезлый чемодан. Однако чемодан лежал криво, и медведь медленно поехал с желтой клеенчатой спинки. Павлик снова взял его на руки и сам устроился на чемодане, уцепившись локтем за ножку перевернутого стола.

Я торопливо отошел в глубь комнаты: показалось, что Павлик сейчас обязательно взглянет на мое окно. Он не взглянул. Сидел и смотрел на своего медведя, будто в первый раз увидел. Наверно, нарочно. Ну и пусть!

Анна Васильевна тоже села в сани. Вещей набралось немного, ей хватило места. А возчик не сел. Он дернул лошадь за повод и повел со двора. Сани описали на сыром снегу широкий полукруг и поползли в открытые ворота. Павлик зажал медведя между колен и теперь держался за ножку стола двумя руками. Он сидел съезжившись, и я не видел его лица. Видел только серую ушанку с распущенными завязками. Потом сани скрылись за распахнутой половинкой ворот.

"Чиф!.. — орал бестолковый воробей. — Чиф!.."

— Дурак, — сказал я ему. Чтобы не зареветь.

Пошли одинаковые, серые дни.

Нельзя сказать, чтобы грызла меня все время тоска. Нет. Ведь надо было и в школу ходить, и домашние задания готовить. Надо было и в овраг сбегать, где по-прежнему катались с крутых склонов мальчишки. Погода стояла непонятная: не весна и не зима. Но снег еще держался. Я приходил домой в сумерки, промокший, со снежными крошками в валенках. Уставший и потому сердитый. Раздевался, не отвечая на Танькины упреки. Потом садился на кровать лицом к стене и устраивал для себя "кино": старался так сложить пальцы, чтобы тень от них стала похожа на какого-нибудь зверя. Я хорошо умел показывать "орла", "зайца", "собаку", "слона", но одни и те же фигуры надоедали быстро. Я начинал придумывать новые. Не очень веселая была эта игра, но все-таки...

Татьяну раздражало мое молчание. Она не выдерживала:

— Ну что за человек! Сопит, молчит весь вечер! Какие-то кукиши показывает! Смотреть тошно...

Если мы были одни, я отвечал не оборачиваясь:

— Не смотри.

Если дома была мама, я со слезами в голосе требовал справедливости:

— Мама, ну что она привязывается!

Мама заступалась:

— Не трогай ты его...

— Смотреть тошно, — повторяла Татьяна.

Разозлившись, я показывал ей настоящий кукиш.

Однажды я слышал, как мама Татьяне сказала:

— Неужели не понимаешь? Скучает он один. Раньше-то как хорошо было...

Потом она спросила меня:

— А почему Павлик ни разу не пришел? Он ведь недалеко живет.

Если бы она знала! Но она не знала ничего. Не потому, что я привык скрывать. Просто я чувствовал, что мама здесь не поможет.

Павлика я видел в школе каждый день. Издалека видел. И он меня замечал, конечно, только не подошел ни разу. Ну, и я не подходил. Просто я был уверен, что старого не вернуть, раз затрещала и пошла ко дну наша Каравелла. Раскололась дружба. И Павлик, видимо, решил так же.

"Кино" на стене мне скоро надоело, и я придумал другую игру.

Иногда мама приносила с базара кульки с кедровыми орехами. Ух, как я их любил! Щелкал я их лучше всех, как белка. Я не жевал по одному ядрышку, а собирал целую горсть и потом уже отправлял в рот. И все же я понял наконец, что самое ценное в орехах не ядра, а скорлупа. Потому что каждая скорлупка — кораблик.

Я наливал воду в синюю пластмассовую тарелку, выстраивал вдоль полукруглых берегов ореховые эскадры. Они готовились к схватке, потом сходились в бою. Шли на таран, на abordаж... Наполнившись водой, скорлупки шли на дно, как настоящие корабли.

Тихая была эта игра. Если со стороны смотреть, то, наверно, скучная. Но я не скучал. Здесь требовалось искусство, почти как в шахматах. Надо было знать, когда идти в обход, когда бросаться в атаку, когда открывать огонь или уходить под прикрытие мыса Чайная Ложка.

Был в этой игре отголосок наших с Павликом корабельных вечеров. Слабый отголосок...

Особенно мне нравились скорлупки от высохших орехов. Тонкая кожица пустых ядрышек ссыхалась и торчала из скорлупы длинными стерженьками. Как мачты. Такие кораблики с мачтами я ставил во главе эскадр и соединений.

Мама иногда молча смотрела, как я спичкой передвигаю в синей тарелке боевые корабли. Я чувствовал, что она смотрит, но не оглядывался. Мне казалось, что маме почему-то грустно.

Только один раз мама сказала:

— Капитан ты мой... Вот найти бы тебе грецкий орех. Из него бы получился корабль...

— Какой это грецкий? Греческий?

— Да нет. Просто такое название. Это большие орехи, вот такие. — Мама сложила в кружок пальцы.

Я не поверил. Не бывает таких орехов.

Мама улыбнулась:

— Ты забыл. Когда ты был маленький, у нас такие орехи висели на елке.

Ну, если когда маленький, тогда другое дело. Маленьким я был до войны.

Тогда, говорят, не было хлебных карточек, был дома папа, а в магазинах продавались настоящие альбомы для рисования.

Мне расхотелось играть. Я сел к окну. В этот вечер не были почему-то закрыты ставни. Я увидел темно-зеленое небо, снежные ветки и маленький желтый месяц. Он сидел на скворечнике, как забравшийся на крышу мальчишка. Я отодвинулся. Месяц прыгнул со скворечника и повис среди мелких звезд, слегка опрокинувшись на спину. Он был похож на половинку золоченого грецкого ореха. Я вспомнил такие орехи, покрытые золотистой пылью. Среди густой темной хвои они поворачивались на длинных нитках. По ним прыгали крошечные зайчики от желтых свечек.

Свечки тихо шептались. Блестели шары. Пахло праздником и сказкой.

Мне бы один такой орех из той сказочной жизни, когда я был маленький. Даже не орех, а скорлупу. Я смастерил бы из нее флагман для своей эскадры, крутобокую бесстрашную каравеллу...

Цунами

Через неделю в комнате Павлика поселилась другая семья: сутулый, вечно кашляющий токарь с номерного завода дядя Глеб, его жена тетя Ага, толстая продавщица из какого-то магазина, и сын Борька, по прозвищу Ноздря.

Ноздря был гад. В школе он отбирал у малышей тощие завтраки, продавал поштучно старшеклассникам самокрутки, хвастался новыми хромовыми сапогами и противно ревел, когда его запирали после уроков в пустом спортзале.

Тетя Ага была ему мачеха, но никогда не обижала, заступалась перед отцом. Она таскала Борьке шоколад и махорку, а он спекулировал этим товаром в школе.

Меня Ноздря невзлюбил с первого дня.

Мы "познакомились", когда он, только что приехав, сидел на лавочке у крыльца, а я возвращался из школы.

— Эй ты, фраер, — лениво окликнул он. — Куда прешь?

Я с любопытством, но без боязни поглядел на белобрысого мальчишку с ленивым лицом и бесцветными ресницами. Потом уверенным голосом поставил его в известность, что здесь живу.

— Живешь? — холодно удивился он. — Жил ты здесь, это точно. А сейчас твоя жисть кончилась. Капут.

Спокойной жизни действительно пришел "капут". Подзатыльники, шалабаны, комки снега за воротом "украшали" мои дни так сильно, что я не видел света. Не было покоя даже дома. Ноздря проковырял в тонкой перегородке дырку и обстреливал меня из резинки проволочными скобками. Он ухитрялся попадать по ушам, и боль была ужасная.

Учился теперь Ноздря в нашей школе, в пятом классе. На переменах он меня не трогал, но дорога в школу и обратно казалась мне пыткой. Она была полна страха перед новыми Борькиными издевательствами.

Однако бывали и у Ноздри черные времена. Иногда по вечерам дядя Глеб лупил его ремнем за двойки, курение и прочие грехи. Я утыкался лицом в подушку и зажимал уши, чтобы не слышать звуков расправы, но это не помогало. Ноздря пронзительно верещал.

На следующий день Ноздря бывал злым, как сто голодных дьяволов. Он ненавидел меня за то, что я знал о его унижении. Он думал, что я радуюсь его беде.

Особенно возненавидел он меня с тех пор, как я забрал карту. Нашу с Павликом карту. Павлик не увез ее, оставил в пустой комнате. Однажды в коридоре я увидел, как тетя Ага таскает в кладовку чемоданы и корзины. Дядя Глеб и Ноздря помогали ей: тоже носили какое-то барахло. Тут-то я и увидел карту. Ноздря волочил ее, свернутую, по полу.

— Это наша! — крикнул я с внезапной яростью. — Куда тащишь, воруга?!

Ноздря медленно повернул ко мне рыбье лицо. Сказал шепотом:

— Иди отсюда... знаешь куда?

Никуда я не пошел. Намертво вцепился в карту и рванул к себе.

— Что за шум? — спросил дядя Глеб.

Чувствуя, что разревусь, я заговорил торопливо и зло:

— Это наша! Мы с Павликом играли! Он мне оставил, а не вам! Не имеете права! Все равно моя...

— Отдай, — сказал Борьке дядя Глеб.

Ноздря выпустил карту, и я полетел с ней спиной вперед к дверям. Тетя Ага вопила вслед:

— А воругой нечего лаяться! Ты видел, как он ворует? Видел, а? Интеллигенция вшивая!

Карту я повесил на стенку, которая отделяла нашу комнату от Борькиной. Я вбивал гвозди, мстительно грохоча молотком по шатким доскам. Карта закрыла дырки, которые Ноздря проковырял для обстрела. Но он потом все равно провертел одну в карте — в западном побережье Австралии.

Борька спекулировал не только в школе. Видели его не раз и на барахольном рынке — толкучке. А однажды я встретил его рядом с кассами кинотеатра.

Мы оба пришли туда после уроков. Я — чтобы взять билет на картину "Волшебное зерно", Ноздря — по своим делам.

Окошечки касс были на улице. Билетов не оказалось, но неподалеку толкались и шумели ребята. Знакомые, из нашей школы, и чужие.

— Греческие орехи дают! — возбужденно сообщил мне второклассник Володька Одинцов.

"Греческие" орехи "давал" Ноздря. По три рубля за штуку. Покупателей хватало. Все равно билетов не было, и ребята без раздумий отдавали скомканные трешки за невиданное чудо. А разве не чудо? Многие про такие орехи и не слышали. Большущие, желтые, они деревянно постукивали в Борькиных ладонях.

— А ну налетай! Потом пожалеете! У мамки таких не допроситесь!

Я протолкался к Ноздре. Я боялся, что он и здесь не забудет о своей вражде, но не вытерпел. Помнил об "ореховом флагмане".

Ноздря не подал виду, что знает меня. Сунул за пазуху деньги, протянул орех и снова призывно заголосил.

Орех был бугристый, скользкий и холодный. Я расколотил его обломком кирпича на тротуаре. Не очень удачно расколотил: одна половинка скорлупы треснула. Но вторая была совсем хорошей. Я вынул из нее ядро. Вернее, это было не ядро, а темные пыльные крошки. Горькие.

Я снова протолкался к Ноздре:

— Борька! Он же гнилой!

Ноздря бросил на меня стремительный ненавидящий взгляд.

Сказал одними губами:

— Пошел.

Я ушел. Что я мог сделать? Ладно. В конце концов, главное то, что скорлупа была подходящая.

Домой я решил не ходить: боялся, что Татьяна уже вернулась из техникума и будет засаживать меня за уроки. Я отправился на школьный двор. Там, за поленницей, был мне известен незаметный уголок.

В карманах и портфеле нашлось все, что было нужно для постройки: свечной огарок, нитки, спички.

Я разжевал парафин и белой мякотью заполнил трюм будущей каравеллы. Потом воткнул в парафин две спички-мачты, укрепил на носу спичечный бушприт. Поставил клетчатые бумажные паруса и долго возился, натягивая нитяные штаги и ванты.

А потом вышел на улицу и пустил легонькую крутобокую каравеллу в синий разлив уличной весенней воды.

Каравелла не успела уйти от берега: я заметил Ноздю. Он шагал в мою сторону. Я торопливо спрятал кораблик в портфель, но сам исчезнуть уже не смог.

Ноздря прижал меня к шаткому заборчику и лениво проговорил:

— К мамочке домой хотел смыться? Фиг тебе. От меня не сбежишь.

Для начала он дернул меня к себе, дал ладонью по шапке и снова прислонил к скрипучим доскам. Медленным шепотом сказал:

— Стой. А то хуже будет...

Этот страшный шепот меня всегда словно заколдовывал. Я стоял, придавленный тоскливым страхом и беспомощностью. Ноздря аккуратно поставил свой разбухший портфель на просохший пяточок у телеграфного столба. Потом из грязных снежных крошек начал скатывать плотный шарик. Я подавленно следил за его работой. Руки у Ноздри были худые, покрытые какой-то серой, несмываемой корочкой, с черными полосками ногтей. На костяшках пальцев сидели чернильные капли. На тыльной стороне левой кисти, у большого пальца, был нарисован чернилами кривой якорь. Пока Ноздря мял снег, якорь то сжимался, то растягивался.

Скоро шарик был готов. Скрюченным указательным пальцем Ноздря попытался оттянуть ворот моего пальтишка, но там была крепкая застежка с крючком.

— Ну-ка, ты, мамина радость... давай расстегивай, — сказал он с холодной деловитостью палача. — Видишь, у меня руки заняты.

Он придвинулся вплотную. Я близко увидел его лицо с удивительно чистой, какой-то неживой кожей, бесцветные глаза с покрасневшими веками и гнилые зубы. Мгновенная ненависть перехлестнула страх, и я вlepил мокрой варежкой по отвратительной роже.

Наверно, удар был очень слабый. Ноздря даже не качнулся. Секунды две он удивленно моргал, а потом по его лицу расплзлась улыбка. Довольная улыбка человека, который добился чего хотел. Еще бы! Теперь он мог сделать со мной все что угодно! Была причина.

— Птенчик ты мой, — заговорил Ноздря с ласковой укоризной. — Знаешь, что я сейчас с тобой сотворю?

Я не знал, но догадывался: сотворит что-то ужасное. Помню, что стало больно позвоночнику, — так я прижался к забору. Ноздря стал протягивать к моему лицу растопыренную ладонь. Потом рот его округлился, рука остановилась, и он осел к моим ногам.

Тогда я увидел Павлика.

Видимо, он незаметно подошел сбоку и резким ударом "под дых" посадил моего врага на тротуар.

Ноздря попытался вздохнуть и хлопал губами. Павлик, не глядя на меня, поднял его за воротник и за штаны и крепким вратарским ударом отбросил в серое месиво тающего снега. Именно так он выбивал из ворот на школьном дворе круглую обледенелую "мяпу". Наверно, мне показалось, но тогда я был уверен, что Ноздря несколько метров летел по воздуху.

С изумлением, еще не успев обрадоваться, я смотрел, как рассыпается в пыль могущество моего мучителя. Павлик, проваливаясь в снег ботинками, подошел к Ноздре и нанес по-настоящему сокрушительный удар. Ноздря, задрвав подбородок, воткнулся затылком в снежную кашу. Павлик снова рванул его и выволок на тротуар. Там он сказал Ноздре несколько слов, из которых "фашист" и "шакал" были самыми мягкими. Ноздря сидел, упираясь грязными ладонями в доски, и скулил.

— Исчезни, — велел Павлик.

Ноздря поднялся и заковылял назад, к школе, грозя привести друзей и учинить ужасную расправу. Портфель остался у столба. Ударом ноги Павлик отправил его вслед хозяину. Портфель шлепнулся на тротуар, как громадная жаба. Крышка отскочила. Выкатились на свет две черные печеные картофелины и пачка махорки. Махорка упала в лужу и поплыла размокать...

Что я чувствовал? Шевельнулась вдруг непонятная жалость к побитому врагу, особенно когда увидел две его картофелины. Но радость была сильнее. Я вдруг сразу заметил, какой разноцветный вокруг день. Солнце блестело на светло-зеленой коре тополиных веток. Тротуары были желтыми от яркого света, а тени на них — фиолетовыми. А лужи были такими синими, что даже не знаю, с чем их сравнить.

А Павлик? Он отряхивал с колен снежные крошки и на меня не смотрел. Мне тоже было неловко. Что теперь делать? Мириться? А как?

А может быть, Павлик затеял драку не из-за меня? Может быть, у него с Ноздрей были свои счеты?

Больше всего я боялся, что Павлик уйдет. Повернется сейчас и зашагает прочь, будто меня и нет. Он умел так уходить — независимый, прямой, спокойный... Подойти к нему сам я тоже не решался. Подойдешь, а он и не взглянет.

Я отошел на несколько шагов, сел на корточки у края лужи и достал из портфеля кораблик. Он запрыгал по маленьким волнам на краю синей воды, сделал небольшой полукруг и резво побежал на середину лужи, которая разлилась от тротуара до тротуара.

Рядом со мной легла на воду тень, и я услышал голос Павлика:

— Мачты маленько неправильные. Надо повыше.

— Торопился, — хриловато сказал я, не отрывая глаз от каравеллы. Я готов был согласиться с чем угодно, лишь бы Павлик не уходил.

— Ты переделай, — посоветовал Павлик. — Она быстрее будет бегать.

Я кивнул.

Кораблик метрах в трех от берега уткнулся бушпритом в мятую жестяную банку из-под американской тушенки. Желтый бок ее отсвечивал ярким золотом, а на нем, как зловещий знак опасности, чернела буква "U".

— Вот... — сказал я. — Как теперь переделать? Его не достанешь... — А сам подумал: "Ну, пожалуйста, не уходи!"

— Достанем, — отозвался Павлик. — Сейчас палку добудем какую-нибудь...

Но добывать палку не пришлось. За поворотом визгливо завыл мотор, и выскочила из-за угла полупортка. Это был лихой грузовичок, заляпанный грязью по самые стекла. Водитель решил с разгона проскочить громадную, на полквартала, лужу. На всем ходу взрезал колесами воду.

— Цунами! — крикнул Павлик непонятное слово.

По тротуару застучали вокруг нас грязные капли. Гребень взбаламученной воды оторвал ореховую каравеллу от банки и вынес к нашим ногам. Положил на борт. Но она, круглая, маленькая, упрямо, как ванька-встанька, поднялась, покачалась и встала прямо.

Павлик засмеялся, повернув ко мне забрызганное лицо:

— Ух какой ты разукрашенный!

— А сам-то!

Он поднял кораблик и протянул мне:

— Пойдем к нам, умоешься. А то Татьяна тебя пилить будет.

— Пойдем, — торопливо сказал я. — А что такое цунами?

— Большая волна. Когда на дне моря землетрясение или вулкан, она катит на берег и все разрушает. Корабли выбрасывает, города смывает.

— А-а... — сказал я.

Павлик был рядом. Никакие цунами были не страшны. Он сам сегодня обрушился на Ноздю, как цунами.

Павлик жил теперь в пяти кварталах от нас, в крошечном домике, который стоял в глубине двора. Внутри все было как раньше: те же стулья с петухами, наша тумбочка, мишка на комод. Только вместо круглой печки в углу белела плита с узкой дверцей.

На эту плиту, еще не остывшую с утра, Павлик поставил мои размокшие ботинки. Я следил с некоторой тревогой: помнил, как он спалил свои валенки. Ботинки у меня были новые: мама накануне получила их по ордеру.

Павлик притащил сковородку с макаронами. Чиркнул по слипшимся макаронам ножом — пополам. Потом, деловито работая вилкой, спросил:

— А чего этот гад к тебе пристаёт?

— Ноздря? А я не знаю. Он давно... Он, наверно, из-за карты...

И я рассказал, как отстаивал нашу карту.

— Ты ее принеси завтра. Ладно? — вдруг тихо попросил Павлик.

— Завтра?

— Ну да... Разве ты вечером не придешь? Завтра воскресенье как раз...

Я? Я, конечно, приду! Я прилечу! С картой? Значит, Павлик хочет, чтобы все было, как раньше?

Неужели можно сделать все, как раньше?

Наверно, можно... Конечно, можно, раз Павлик сказал.

— А сегодня нельзя?

Павлик вздохнул:

— Сегодня у мамы на работе буду весь вечер. Заставляет при ней уроки делать. Ругается...

Я начал натягивать еще сырые, но теплые ботинки. Потом я полувопросительно сказал:

— До завтра?

Не раздумал ли Павлик?

— Ты смотри обязательно приходи, — неловко попросил он. — А если завтра Ноздря ползет... А почему ты Дыркабу не сказал, что он к тебе пристаёт?

— Дыркабу?

— Ну да! Он же эту Ноздю видеть не может. Он за тебя ему бы башку оторвал.

— Я... не знал... Павлик, а почему его так зовут — Дыркаб?

— Не знаю. Знал, да забыл.

Я ушел. Я был уже за калиткой, когда Павлик окликнул меня:

— Владька! Пстой!

— Что?

— Я знаю. Вспомнил. Его так еще давно прозвали. Он тогда хвастался, что знает, как по-немецки "мальчик". Ну, услышал где-то. А мальчик по-немецки — "дэр кнабэ". Ну, вот его так и стали дразнить. А потом это переделалось в Дыркнаба... Ну, ты смотри приходи.

Я кивнул. Я знал, зачем он догнал меня. Плевать ему было на Дыркнаба. Он хотел убедиться, что я обязательно приду.

Вечер

Я вернулся домой. Крепкая, сдержанная радость двигала мной, как тугая пружина. Солнце сделалось ярким, будто ему в два раза увеличили напряжение. Оно дробило в стаканах ослепительные искры и торжественно горело на медном животе нашего самовара. Самовар, казалось, даже помолодел от этого блеска. Часы стучали весело и часто. Видимо, торопились подогнать время к завтрашнему дню.

Я распаковал кастрюлю с вареной картошкой, закутанную в старый ватник, потом в сенях отыскал банку со своей порцией молока. Молоко было ледяным, картошка вздымала клубы горячего пара. Обед получился царским.

Затем я добросовестно протер клеенку и разложил тетради. Упражнение по письму было громадным: восемь строчек. Вчера я впал бы в глубочайшую тоску от такого задания. Но сейчас я написал упражнение, посмеиваясь и даже слегка издеваясь над учебником: "Подумаешь, испугал!" Задача и четыре столбика примеров решились словно сами собой. Стихотворение про весну не пришлось даже учить: оно запомнилось с первого раза.

Я кончил готовить уроки и слегка испугался. Куда девать время? День был еще в разгаре. Идти на улицу не хотел. Не потому, что боялся встретить Ноздю. Теперь-то я его ни капельки не боялся. Но мне казалось, что на улице, среди солнца, среди веселого гвалта воробьев и синего блеска луж, моя радость от встречи с Павликом может потускнеть и рассеяться. Счастливое ожидание завтрашнего вечера я боялся растерять среди уличных игр и забот.

К счастью, вспомнил я, как Антонина Петровна говорила, что на Первомайском утреннике мальчишки из нашего класса будут изображать красных конников. До Первого мая было еще ужас как далеко, но я отыскал несколько старых газет и начал клеить красноармейский шлем. Клеил я неторопливо, накрепко, в несколько слоев, смазывая листы вареной картошкой. Когда дело было закончено, я вытащил коробочку с протертыми насквозь кирпичиками красок. Надо было выкрасить шлем в зеленый цвет.

И тут я заметил, что уже не различаю красок. День угасал, и в комнату ползли серые сумерки. Кирпичики в коробочке казались одинаково темными и бесцветными.

Я зажег лампочку и при желтом ее свете развел в блюдце зеленую акварель. Выкрашенный шлем мне очень понравился. Правда, газетные буквы проступали сквозь краску, но зато я пришел над

козырьком голубую клеенчатую звезду (пришлось отрезать полуоторванный угол столовой клеенки). Я знал, что звезды на шлемах наших кавалеристов были голубыми.

Работа была окончена. Я устало потянулся и с некоторым беспокойством оглядел комнату: всюду обрезки газеты, на полу раздавленная картошка, на столе зеленые лужицы. Пока никто не пришел, надо было браться за уборку. И только тут я сообразил, что прийти-то давно пора. И маме, и Тане. За окнами стояла почти полная темнота, стрелки ходиков подползали к восьми. Дом наполняла тишина, состоявшая из тиканья часов и мышиной возни.

Кажется, я снова попал в "утык".

И представьте себе, впервые в жизни я не испугался. Подумаешь, беда! Заберусь на кровать и буду снова читать сказку про стойкого оловянного солдатика. Или лучше про Дюймовочку. Уж теперь-то ее можно читать без грусти. Так я и сделал: убрал мусор, запер дверь, взял книжку и с ногами залез под одеяло.

Я успел только прочитать, как скользкая жаба утащила Дюймовочку в свое болотное гнездо. В дверь постучали. Забарабанили. Я обрадованно вскочил. Конечно, хорошо читать в тишине сказки, но лучше, когда ты в доме не один. Пусть будет даже Ноздря. Он, разумеется, гад, но все-таки не так уныло себя чувствуешь, если за стенкой есть кто-то живой. А если будет еще привязываться... Ну, пусть попробует!

Я нахлобучил непросохший шлем, сунул ноги в ботинки и, не одевшись, выскочил в сени.

— Кто?

— Ой, Владька, открывай скорее!

Милка? Ей-то что здесь надо? Я сбросил крюк.

При свете коридорной лампочки Милка в сбившемся капоре казалась бледной и перепуганной.

— Беги к Павлику! Он зовет. Да скорее, а то уедет! Да оденься ты, дурак! Скорей, тебе говорят!

Конечно, ничего-ничего я не понял. Одно только понял: бежать надо изо всех сил. Иначе Павлика не увижу совсем. Никогда.

"Куда, зачем он хочет уехать? Почему он днем ничего не сказал? Может быть, Милка врет?"

— Может, ты все перепутала, Милка?

— Да скорей ты, тюлень!

Ничего она не врет. Она пришла, а он сидит на чемодане и не хочет на вокзал ехать, пока на старую квартиру не сбегает с Владькой попрощаться! А их уже грузовик ждет. Сплошной крик и слезы.

Что? Почему так сразу? Ну откуда она знает? И ничего не сразу. Просто Анна Васильевна Пашке не говорила, потому что злая на него была. Он все время с ней ругался в последние дни.

Куда едут? Кажется, в Новосибирск. Там брат Пашкиного отца живет, раненый, после фронта. Вещи? Какие у них вещи? Подумаешь, мебель! Оставили. Может, потом заберут...

— Воротник застегни! А шапка?

— Наплевать!

Шапка! Не все ли равно...

Я мчался по синим сумеречным улицам и видел, как туманный месяц, похожий на горстку серебряной пыли, летит впереди меня среди голых черных веток. И слышал, как стучат по доскам подошвы. Слышал как бы со стороны: словно кто-то другой в новых, негнущихся ботинках бежит по пустым тротуарам. Что-то шумно трепетало и хлопало рядом с головой. Я не сразу понял, что это рвутся от встречного ветра крылья бумажной буденовки. Потом я ударил плечом отсыревшую калитку, и она тяжело отошла.

Над крыльцом горела очень яркая лампочка, но дом был темным и глухим. В запертых ставнях не светила ни единая щель.

Ни на что не надеясь, я поднялся на крыльцо (тэк-тэк, — ударили по ступенькам подошвы). Постучал. Стук угас в пустоте покинутого дома. Я всхлипнул, повернулся спиной и ударил в дверь каблуком. От сотрясения замигала надо мной лампочка. Она мигала долго и неуверенно, словно раздумывая: гореть или погаснуть? Потом решила все-таки нести службу до конца.

К нижней ступеньке крыльца подступала широкая лужа. Вода казалась черной и маслянистой. Через лужу была перекинута доска. А я и не заметил, как проскочил по ней сюда. Недалеко от доски застыл на гладкой воде крошечный двухмачтовый кораблик с размокшими парусами. Я узнал свою каравеллу, хотя мачты были другие — выше и аккуратнее.

Больше я не стучал. Спустился с крыльца и пошел по доске через лужу. Доска прогнулась, шлепнула по воде, и кораблик обрадованно подпрыгнул на коротеньких волнах. Он торопливо закивал мне мачтами. А я прошел мимо со своим горем и обидой.

Я дошел почти до калитки, не думая о кораблике, но зрительная память цепко держала его: как он, бедняга, прыгает на гребешках и машет мачтами-лучинками... Пронзительная жалость к малютке-каравелле, брошенной капитанами, толчком остановила меня в полушаге от калитки. Я коротко вздохнул и бросился назад. Снова доска шлепнула по луже, и отражение лампочки разбросало по черной воде золотые зигзаги. Осторожно, чтобы не смять намокший фор-марсель, я притянул к себе кораблик за верхушку мачты...

Потом я нес его в ладонях, как озябшего котенка, и говорил смешные ласковые слова.

Хотелось плакать, но плакать было бесполезно. Поезд с Павликом не даст задний ход и не вернется на нашу станцию.

При этой мысли я вдруг понял одну простую вещь: любая сказка, любая игра, любые хорошие вечера обязательно кончаются. Помните, летним вечером зовут вас с крыльца, а вы просите: "Ну, еще пять минуток!" Но пять минуток проходят, как одна, и все равно пора домой, из-под звезд, из веселой страны игр — в скучные комнаты. И, засыпая, вы знаете, что такого вечера больше не будет никогда.

И вечера с Каравеллой тоже кончились. Хорошо, что хоть вспомнить о них можно без горечи. А если бы мы не успели? Если бы сегодня днем не встретились? Я даже остановился на секунду от запоздалого страха...

Дома я опустил к столу лампочку. Потом на стопке книг пристроил рядом с ней каравеллу — сушиться. Тень ее выросла и легла на белую оконную занавеску.

Это была стремительная тень корабля, который не собирался отдавать якорь. Он не убрал ни одного паруса, он был в пути.

И тут я подумал, что неправда, ничего не кончилось. Ни паруса, ни тайны, ни синие ветры. Все еще будет не раз. По-настоящему. А было только начало.

Тень Каравеллы ожила и тихо качнулась. Это качнулась занавеска. За окном начинал вздыхать и тяжело раскачиваться влажный ветер. Приподнялся и грохнул на крыше оторванный железный лист. С шумом покатился с поленицы пустой фанерный ящик... Ветер обещал теплые, но бессолнечные дни, когда воздух становится плотным, как сырая вата. Но я вспомнил, что называется этот ветер юго-западным циклоном и приходит он с южных побережий, где таинственно мигают маяки и обросшие ракушками корабли ласково трутся бортами о скрипучее дерево причалов.

Мир опять стал синим и белым, зовущим...